

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Тверской государственный университет
Факультет иностранных языков и международной коммуникации

**Человек – язык – дискурс:
антропоцентрическая лингвистика
и лингвистическая антропология**

Коллективная монография

Тверь 2023

УДК 81
ББК Ш10
Ч 39

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор Л. Г. Васильев
(Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского),
доктор филологических наук, профессор В. Б. Зусева-Озкан
(ИМЛИ РАН)

Человек – язык – дискурс: антропоцентрическая лингвистика и лингвистическая антропология: коллективная монография / Золотова Н. О., Волков В. В., Чугунова С. А., Мкртычян С. В., Карасик В. И., Брызгалова Е. Н., Семенова Н. В., Бушев А. Б., Миловидов В. А.; отв. редактор: В. А. Миловидов. Тверь: Тверской государственный университет, 2023. 179 с.

Рассматриваются актуальные вопросы современного языкознания, связанные как с появлением новых реалий общественной жизни, так и с перестройкой научного инструментария. Обсуждаются вопросы психолингвистики, коммуникативной стилистики, теории литературно-художественного дискурса, цифровых средств коммуникации, лингвоконцептологии и т.д. Глава 1. Двуязычный индивид и культура в ракурсе психолингвистического подхода (Н. О. Золотова). Глава 2. Именования «традиционных ценностей» в русском языке: проблемы понимания и интерпретации (В. В. Волков). Глава 3. Метафора в языке, сознании и переводе (С. А. Чугунова). Глава 4. Современная лингвистика: традиции и перспективы (С. В. Мкртычян). Глава 5. Ереванская роза: символизация жизни и смерти в поэзии Семена Липкина (В. И. Карасик). Глава 6. Особенности репрезентации концептов «искусство» и «жизнь» в романе В.А. Каверина «Художник неизвестен» (Е. Н. Брызгалова). Глава 7. Функционирование итератива в рассказах А. П. Чехова (Н. В. Семенова). Глава 8. Цифровой дискурс: прагматика, риторика, стилистика (А. Б. Бушев). Глава 9. Поэтическая функция языка как проблема теории литературно-художественного дискурса (В. А. Миловидов).

УДК 81
ББК Ш10

ISBN 978-5-7609-1877-2

© Золотова Н.О., Волков В.В.,
Чугунова С.А., Мкртычян С.В.,
Карасик В.И., Брызгалова Е.Н.,
Семенова Н.В., Бушев А.Б.,
Миловидов В.А., 2023
© Тверской государственный
университет, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРОВ

4

**ГЛАВА 1. ДВУЯЗЫЧНЫЙ ИНДИВИД И КУЛЬТУРА
В РАКУРСЕ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА**

5–22

**ГЛАВА 2. ИМЕНОВАНИЯ «ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

23–47

ГЛАВА 3. МЕТАФОРА В ЯЗЫКЕ, СОЗНАНИИ И ПЕРЕВОДЕ

48–64

ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВОСТИЛИСТИКА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

65–85

**ГЛАВА 5. ЕРЕВАНСКАЯ РОЗА: СИМВОЛИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
В ПОЭЗИИ СЕМЕНА ЛИПКИНА**

86–95

**ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТОВ «ИСКУССТВО» И
«ЖИЗНЬ» В РОМАНЕ В.А. КАВЕРИНА «ХУДОЖНИК НЕИЗВЕСТЕН»**

96–104

ГЛАВА 7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИТЕРАТИВА В РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА

105–124

ГЛАВА 8. ЦИФРОВОЙ ДИСКУРС: ПРАГМАТИКА, РИТОРИКА, СТИЛИСТИКА

125–141

**ГЛАВА 9. ПОЭТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА КАК ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА**

142–159

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

160–177

ОТ АВТОРОВ

Современная лингвистика, как и, в целом, гуманитарные науки, переживает в настоящий момент глубокий, почти тектонический сдвиг, который принято именовать «антропоцентрическим». Это, действительно, так. Несмотря на то, что изучение языка как безусловного достояния человека на всех этапах развития языкознания неизбежно втягивало в фокус исследования «человеческий» фактор, все-таки, сам человек, с его жизненными запросами, намерениями (интенциональностью) и, главное, ценностями, оставался на маргиналиях гуманитаристики. Особенно характерным в этом отношении был предшествующий нынешнему «системоцентристский» этап в развитии языкознания, сделавший чрезвычайно много в понимании того, как устроен языковой инвентарь, но ограничивший себя изучением языковой системы – несмотря на то, что «прорывы» за пределы этой системы, подступы к изучению того, как язык функционирует в культуре, постоянно сопровождали системо-центристские штудии.

Наука, в отличие от многих прочих форм человеческой деятельности, никогда не отрицает того, что было сделано предшествующими поколениями исследователей – несмотря на то, что полемика между последовательно критикующими и «снимающими» друг друга исследовательскими парадигмами есть общее место истории науки. Каждый новый этап развития языкознания включает в себя предыдущие, адаптируя под собственные нужды его результаты.

Такова и антропоцентрированная лингвистика (лингвистическая антропология). Вынося в фокус исследования «человека говорящего», современная наука позволяет языку «очеловечиться» в дискурсе. Мы начинаем «жить» метафорами и символами, которые ранее почитались исключительно языковыми инструментами, служащими целям украшения речи. Язык начинает не только фиксировать ценности, которые определяют жизнь человека и общества, но и, формулируя, делает их более строгими и определенными, и они, в свою очередь, оказывают воздействие на развитие языка и, соответственно, человека, который не может жить в мире, лишенном ценностных ориентиров. Переосмысливаются многие фундаментальные понятия, в том числе, понятие стиля. Разработанные системо-ориентированной (структурной) лингвистикой средства анализа языковых и текстовых форм позволяют по-новому, на более высоком и качественном уровне анализировать образцы литературно-художественного и прочих сложных видов бытийного дискурса, а хорошо знакомые исследователям языка механизмы языкового воздействия помогают нам без особого страха встретиться лицом к лицу с современными формами цифровой коммуникации, в том числе, и межкультурной.

Данная проблематика легла в основу предлагаемой читателю коллективной монографии, которая, учитывая опыт предшествующей лингвистики, стремится в своих материалах выйти за ее пределы и заглянуть за горизонты настоящего.

ГЛАВА 1

ДВУЯЗЫЧНЫЙ ИНДИВИД И КУЛЬТУРА В РАКУРСЕ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Феномен двуязычия рассматривается в контексте взаимодействия личности и культуры, а также в аспекте овладения и пользования вторым/иностранным языком в учебной ситуации. Обосновывается преимущество психолингвистического подхода к изучению когнитивных процессов в сознании двуязычного индивида. Специальное внимание уделяется особенностям взаимодействия языков и культур в условиях учебного двуязычия на уровне иноязычного слова. Обозначаются возможности практического использования результатов психолингвистических исследований ассоциативного поведения учебных билингвов в целях оптимизации обучения и овладения иностранным языком и культурой в учебной среде.

Ключевые слова: язык, культура, двуязычие, билингвизм, ментальный лексикон, ассоциативный эксперимент.

При обсуждении широкого круга вопросов об использовании индивидом двух и более языков обычно прибегают к терминам «двуязычие» и «билингвизм», которые применяются как взаимозаменяемые, синонимичные единицы. Содержание самих терминов варьируется в зависимости от конкретных задач исследования, а также научной позиции исследователя. Неопределенность толкования термина «билингв» обусловлена фактами реальной жизни, в которой носители билингвизма драматически отличаются друг от друга.

К параметрам, важным для описания билингвизма, обычно относят возраст и контекст усвоения языков, коммуникативную активность и степень родства языков, уровень владения языками и т.п. Билингвизм как лингвистический феномен анализируется с точки зрения взаимодействия языковых систем с регистрацией отклонений от того, что предписывается языковой системой, в то время как психолингвистический подход к анализу этого феномена сводится к моделированию процессов овладения и пользования психологической структурой значения слова как единицы ментального лексикона.

Вопрос об использовании индивидом двух и более языков может быть рассмотрен также и в более широком контексте взаимодействия личности и культуры.

Статус билингвизма как нормы в современном поликультурном мире часто обсуждается с обращением к языковой биографии личности, в частности представителей русской культуры. В отечественной культурной традиции русско-французское двуязычие, преимуществами которого пользовались Пушкин, Тютчев, Толстой, Достоевский, всегда рассматривалось как характерный признак времени, в которое создавалась

великая русская литература. Русско-английское двуязычие наиболее ярко представлено в творчестве Набокова и Бродского.

Языковая судьба индивида складывается в раннем детстве: усвоение в этот период двух или более языков накладывает отпечаток на все его последующее развитие. В качестве знаменательного примера развитой двуязычной личности принято рассматривать А. С. Пушкина. Вяч. Вс. Иванов [Иванов, 2004] обращает внимание на функциональное различие двух основных языков поэта.

Так, средством поэтического выражения у Пушкина по преимуществу выступает русский, в то время как французский используется поэтом в качестве «левополушарного» языка, т.е. языка логического рассуждения, что характерно и для многих его современников. В том же смысле вспомогательную роль для этого круга мог играть и латинский. Итальянский, которым Пушкин овладел в последние годы жизни достаточно свободно, но как языком разговора или поэтического чтения, может рассматриваться как язык восприятия [Op. cit.:124].

Логически-рассудительная роль французского языка характерна и для Тютчева, который использован его в дипломатической, публицистической и политической жизни, в то время как русский оставался, как и у Пушкина, основным средством поэтического творчества и повседневного общения вне салонов, во время пребывания на родине. Обращая внимание на опыт семейной жизни Тютчева, а именно на два его брака с немками, Вяч. Вс. Иванов делает предположение, что «по своей функции немецкий язык у него мог оказаться ближе к русскому, чем к французскому» [Op. cit.:125].

Особенности владения двумя и более языками представителей творческой элиты XIX в. как в отношении функционального статуса используемых языков, так и с точки зрения их влияния на художественное сознание авторов изучается современными исследователями на материале канонических текстов и эпистолярного наследия.

Наиболее известные носители русско-английского двуязычия середины и второй половине XX века это В. Набоков и И. Бродский, фигуры которых, самим фактом двуязычного существования были обречены на сопоставление. Однако, Бродский отрекся от такого сопоставления, на том основании, что для Набокова английский – это практически родной язык, на котором он говорил с детства, в то время как Бродский был рожден «не для того, чтобы знать этот язык, но как раз наоборот – чтобы не знать его» (цит. по: [Куллэ URL]). Поэтому для него английский – это его «личная позиция», «удовольствие от писания по-английски» и «дополнительное удовольствие – от чувства несоответствия», т.е. бесперспективности опыта изучения английского в школе [Op. cit.].

После десяти лет пребывания за пределами России И. Бродский в одном из своих интервью рассуждает о ситуации «неизбежного двуязычия», в котором он оказался. Рефлексия поэта над собственной двуязычной ситуацией отталкивается от признания того факта, что «двуязычие – это норма». «Двуязычие не надо рассматривать как негативное явление», – отмечает Бродский, ссылаясь на старую добрую традицию, существовавшую в России. Преимущества двуязычия для себя Бродский формулирует следующим образом: «Два языка как бы играют друг с другом. Между ними происходит интерференция, традиции сталкиваются друг с другом, а я это использую, эксплуатирую» [Бродский 2000: 197].

Первоначально функции языков традиционно были закреплены за поэтическим творчеством (русский) и эссеистикой (английский). Однако вскоре роль английского расширяется и появляется практика автопереводов и оригинальных стихов, написанных по-английски.

Поэт и переводчик В. Куллэ, исследователь творчества И. Бродского, анализируя его англоязычное наследие, полагает, что навык остранения, необходимый для поэта, коренится в самой природе английского языка, главное качество которого «не *statement*, то есть не утверждение, а *understatement* – отстранение, даже отчуждение... взгляд на явление со стороны» [Куллэ URL]. Этот «изумленный взгляд на вещи со стороны», характерный для английской литературы, оказывается настолько близким Бродскому-личности, что «эксплуатируется» Бродским-поэтом в собственном творчестве, в том числе и англоязычном.

Сам поэт подчеркивает, что обратился к иному языку не «по необходимости, как Конрад», не «из жгучего честолюбия, как Набоков» и не «ради большего отчуждения, как Беккет», – но исключительно из стремления «очутиться в большей близости к человеку, которого... считал величайшим умом двадцатого века: к Уистену Хью Одену» (цит. по: [Op. cit.]).

Рассматривая двуязычие как принадлежность собственной личности, Бродский оценивает его интегративную природу с точки зрения творческого потенциала: «Если бы я был поставлен перед выбором: использовать только один язык – русский или английский» – я бы просто сошел с ума» [Op. cit.].

Мысль о двуязычии как факторе интеллектуального раскрепощения развивается у М. Эпштейна, который определяет языковую свободу как свободу выбирать язык для выражения тех или иных мыслей, и более того, как свободу мыслить об одних и тех же предметах на двух языках, «мыслить стереометрически» [Эпштейн URL].

Языковая компетентность как один из параметров, с помощью которого осуществляют научное описание феномена двуязычия, соотносится с его широким определением, которое обозначает

(полноценное) владение двумя языками на одном (высоком) уровне. В реальности такой тип двуязычия встречается не часто, что подтверждается исследованиями особенностей языкового поведения двуязычной личности, оставившей след в мировой культуре.

Если рассматривать двуязычие не в терминах языковой компетентности, а с точки зрения употребления языка, то билингвом (носителем двуязычия) следует считать человека, нуждающимся в употреблении двух и более языков в повседневной жизни. В большинстве языковых сообществ мира употребляется более чем один язык, так что в этом смысле около половины населения земли можно признать билингвами [Рогожникова 2013: 32]. Таким образом, двуязычный индивид в современном мире, претерпевающим процессы глобализации, представляет собой обыденное явление.

В то же время, активные миграционные процессы и другие политические факторы являются причиной того, что значение, которое стоит за термином «двуязычие» облекается «ореолом социальных проблем», становясь при этом более размытым. Этому способствует, в частности, «полужазычие», возникающее как следствие «полукультуры». Полукультура, в понимании Р. М. Фрумкиной, это не недостаток некоторой «вообще-культуры» или знаний. Это конфликтная ситуация, в которую попадает личность в результате слома традиции [Фрумкина 2001: 165–166]. На риски «двойного бытия» при нахождении на границе культур указывает и М. Эпштейн, предупреждая, что возможность двуязычия, может легко обернуться «полузнанием чужого языка и полузабвением родного» [Эпштейн: URL]. Хорошо известны «не только образцы сильной речи, чьи выразительные средства удвоены скрещением языков, но и примеры ополовиненной речи, жаргонной смеси, где от обоих языков остаются только обломки их катастрофического столкновения. Переходя границу между культурами, легко застрять в ничейной полосе, где ни одна из культур не оставила ничего, кроме мусора и отходов» [Op. cit.]. Сложно говорить о развитой языковой личности билингва, если он утратил прежние языковые стереотипы, но не приобрел эффективные новые. И, тем не менее, «сами ошибки – системные, социальные, профессиональные, карьерные, лингвистические, церемониальные, – которые мы совершаем при переходе из культуры в культуру, при переводе с языка на язык, могут выполнять роль творческих мутаций [Op. cit.]».

Кроме этнических и политических факторов, обуславливающих «новую волну» распространения двуязычия в мире, следует обозначить и возросший статус искусственного билингвизма, что связано с востребованностью индивидов, владеющих двумя и более языками, в профессиональном поле. Под искусственным двуязычием/билингвизмом понимается такой тип двуязычия, который формируется в условиях

организованного обучения, то есть в учебной ситуации, а носитель такого типа билингвизма обозначается как учебный билингв.

Вслед за А. А. Залевской [Залевская 2009: 106–107] обратим внимание на ряд факторов, определяющих отличие естественного (в том числе бытового) от искусственного (учебного) двуязычия. К ним относятся, прежде всего, условия формирования, специфика превалирующих при этом процессов, протекающих в сознании индивида, а также результаты этих процессов.

Обычно результаты, получаемые в искусственной среде, оставляют желать лучшего. При этом наличие таких явных преимуществ в условиях формирования двуязычия, как системная презентация языковых явлений, целенаправленное обучение, наличие учителя-профессионала, работа над ошибками под руководством учителя и наличие специальных методов обучения оказываются недостаточными, чтобы гарантировать успешное овладение вторым/неродным языком.

Поиски причин такого положения вещей заставляют обратить внимание на особенности деятельности самого субъекта, овладевающего неродным языком. Игнорирование психической природы двуязычия в пользу его рассмотрения преимущественно с позиций социологии и лингвистики не позволяют сконцентрировать внимание на ментальных процессах, протекающих при формировании двуязычия, которые с психолингвистических позиций представляют собой «языковые контакты в индивидуальном сознании и подсознании» [Op. cit.: 108].

Психолингвистический подход к изучению двуязычного индивида в искусственной среде положен в основу психолингводидактики, нового направления научных изысканий, обоснование которого предложено А. А. Залевской [Op. cit.]. Принципиальное отличие психолингводидактики от уже имеющихся построений состоит в ориентации на трактовку языка как *живого знания*, которое никак нельзя прямо передать обучаемому, поскольку он должен *сам его выработать* [Op. cit.].

В зарубежной психолингвистике изучение двуязычия, формируемого в учебной среде, также сопровождается обсуждением педагогических и лингводидактических аспектов овладения неродным языком [Cummins 1981] с опорой на результаты изучения языковой организации билингва и модели архитектуры мозга двуязычного индивида [Javier 2007].

В исследовании [Op. cit.] проблема билингвизма обсуждается с точки зрения его носителей, включенных в культуру. Основной посыл автора заключается в мысли о том, что разум билингва (*bilingual mind*) функционирует иначе, чем у монолингва: владение двумя языковыми кодами оказывает воздействие на процессы восприятия, памяти, мышления, обучения и формирования личности в целом, включая эмоциональную составляющую. В качестве искусственного билингва рассматривается переводчик, при помощи которого осуществляется

коммуникация в условиях многоязычного мира. Автор останавливается на специфике устного перевода с точки зрения процессов, происходящих в мозге переводчика, сложностях при последовательном и синхронном переводе, а также типичных ошибках, допускаемых неопытными переводчиками.

Специальное внимание в обсуждаемом исследовании уделяется аффективному фактору в переключении языков. Общий эмоциональный фон ситуации переключения языковых кодов, который обусловлен местом, временем и характеристиками адресата, формирует у индивида специфические отношения с его языками. Отмечается, что в интимных ситуациях, а также для передачи глубоко эмоционального содержания предпочтение отдается родному языку, что подтверждается многочисленными примерами функционального различия языков у творчески одаренных билингвов (см. выше).

Эмоционально-оценочное отношение к изучаемому языку окрашивает индивидуальный образ этого языка, который индивид выстраивает в процессе обучения. Кроме уникальных черт образ изучаемого языка содержит стереотипные представления о том или ином иностранном языке, присущие массовому сознанию. Это находит отражение в «языковом имидже», который манифестируется при анкетировании обучаемых, результаты которого в связи с обсуждением вопросов, прямо не имеющих отношения к билингвизму, а связанных с «бытовой философией языка», представлены в работе [Кашкин 2002: 28–29]. По мнению респондентов, место «самого красивого языка» занимает французский язык, в качестве «самого некрасивого» называют немецкий язык, «самого трудного» – китайский. Кандидатами на «самый смешной язык» оказываются тот же китайский, наряду с японским и украинским. Интересно отметить, что «самым богатым» единогласно признается русский, то есть родной язык обучаемых.

Влияние аффективных факторов на сам процесс усвоения второго языка, так же, как и на использование его в речевой деятельности индивидов, оторванных от естественной культурно-языковой среды, является предметом специального изучения в работах отечественных исследователей, посвященных психолингвистическим проблемам учебного двуязычия. Например, в работе Ю. С. Андриюшкиной [Андриюшкина 2023] языковая тревожность (*second/foreign language anxiety*) как особое состояние, сопровождающее индивида при изучении иностранного языка, рассматривается в качестве фактора, обуславливающего лексическую компетенцию учебного билингва. Автором установлен факт неоднозначного влияния психологической тревожности на функционирование иноязычного слова в ментальном лексиконе индивида при учебном двуязычии. Рассматриваемое состояние может приводить как

к угнетению лексических знаний и умений, так и к их активизации в зависимости от уровня сформированности лексической компетенции.

Дефицит слов для осуществления высказывания и представляет хорошо известную, типичную для искусственных условий изучения иностранного языка проблему, с которой сталкивается обучаемый. Такая ситуация дефицита характеризуется тем, что иноязычные слова, подлежащие усвоению, находятся в пространстве «неосвоенного», или «чужого», что может сопровождаться переживанием эмоционального дискомфорта и отторжения.

Перемещение понятия «чужого» в плоскость психолингводидактики вносит вклад в развитие межкультурного подхода в обучении иностранному языку. В свое время А. А. Леонтьевым был сформулирован вопрос, актуальность которого остается неизменной и сегодня: что значит – усвоить чужой язык? Значит ли это – научиться общаться на чужом языке или научиться общаться с «чужим»? Утвердительный ответ на первую часть вопроса обычно исключает из обсуждения тему, должен ли этот язык в какой-то момент перестать быть «языком чужого» [Леонтьев 2001: 337].

Снятие проблемы «чужести» изучаемого иностранного языка возможно вместе с преодолением отчуждения от носителя этого языка как представителя соответствующей культуры. «Чужой» язык должен перестать быть для обучаемых чужим. Для того чтобы иностранный язык стал для учащегося «нормальным средством самовыражения», «партнер общения не должен восприниматься нами как “чужой”, а его национальная культура должна переживаться нами как органическая часть общемировой культуры, а не как “чужая”, непонятная, чуждая русскому менталитету» [Ор. cit.: 342–343].

Трудности перехода от слова «чужого», незнакомого к слову «другому», которое уже способно вызвать эмоционально отмеченную заинтересованность, а затем и получить статус «своего» в ментальном лексиконе учебного билингва, можно наблюдать на протяжении всего периода обучения индивида иностранному языку. В лингводидактических исследованиях внутриязыковых трудностей усвоения слов иностранного языка фигурируют разнообразные факты, связанные с произношением, семантикой, морфологической сложностью и т.п., которые не просто систематизировать в силу противоречивых результатов наблюдений за языковым поведением обучаемых.

В работе [Медведева 1995] рассматриваются лишь некоторые из них, свидетельствующие о разнообразных причинах, вызывающих трудности усвоения иноязычного слова. В поисках выхода из создавшейся ситуации автор предлагает обратиться к психолингвистическому анализу принципов упорядоченности слов неродного языка в сознании изучающего язык индивида, учитывая отсутствие концептуальных отличий в организации

ментального лексикона монолингва и билингва при безусловном наличии ряда специфических черт в последнем случае. На факт идентичности механизмов речевой деятельности на родном и иностранном языках также указывает И. А. Зимняя [Зимняя 1989: 167], что также перекликается с мнением Дж. Эйчисон о том, что между процессами овладения родным и иностранным языком больше сходства, чем различий [Aitchison 1987: 109].

Неосуществимость попыток описать все возможные факторы, затрудняющие усвоение иноязычного слова, вынуждает перевести обсуждение проблемы на другой уровень, связанный с пониманием того, что имеется в виду, когда говорят о «знании слова».

При обучении иностранному языку знание лексической единицы часто приравнивается к знанию факта, когда обучаемый готов переводить слово с одного языка на другой, воспроизводить дефиницию слова, приводить с ним примеры. Однако при этом оно пока не является средством доступа ни к его индивидуальной базе знаний, переживаний, оценок, мнений и т.п., ни к коллективному знанию и шире – культуре. В этом случае еще рано говорить об усвоении, точнее о-СВОЕ-нии иноязычной единицы, о получения ею статуса «достояния индивида» (А. А. Залевская), или о «совпадении с родным словом его жизни» (М. М. Бахтин).

Таким образом, основной причиной неполного, недостаточного владения словом является факт его получения из словаря. Такое слово – еще «мертвое» слово, в терминах М. М. Бахтина, лишенное социальной своей природы, препарированное и зафиксированное лексикографом, приготовленное с целью пассивного понимания, для которого характерно «отчетливое ощущение момента тождества языкового знака, т.е. вещносигнальное восприятие его и в соответствии с этим – преобладание момента узнания» [Бахтин 2010: 67]. Речь идет о таком понимании слова, «активный ответ на которое заранее и принципиально исключен» [Op.cit.: 66].

О толковании слова в словаре как о «семантической пытке слова, из которого выпытать ничего нельзя», говорит М. Н. Эпштейн в критическом анализе «Толкового словаря» Г. Марка, представляющего собой опыт в «жанре однословия» [Эпштейн 2004: 301]. Представляется, что такая образная характеристика вполне может быть применена и к принципу словарного описания в целом. Подобное описание, построенное на строгих логических основаниях, часто «не проясняет, а усиливает невнятность слова»: ... (слово) «умирает в своей дефиниции и не может умереть, как будто претерпевая ад бесконечного самоповтора, “отсрочку” означаемого как муку означивания» [ibid.]. Следы этой «муки» остаются в усваиваемом слове, что не способствует «активному ответу», т.е. пониманию как ориентации в контексте. Дело, в лучшем случае, ограничивается опознанием лексической единицы.

На ощущение «неловкости и тяжеловесности, производимое многими примерами толкования слов в лингвистических словарях», указывал еще С. Д. Кацнельсон, объясняя это тем, что «в естественном процессе обучения языку мы усваиваем такие слова путем “наглядного определения”». В нашем уме слова эти хранятся как элементарные единицы, не требующие пояснений [Кацнельсон 1986: 22]. По мнению исследователя, «степень доступности вещи и способ ознакомления с нею» играет существенную роль при раскрытии содержания слова. Поэтому, рассматривая толкование *ели* в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова, автор отмечает, что оно несколько подавляет своей научностью: «крупное, вечнозеленое хвойное дерево конусообразной формы с длинными чешуйчатыми шишками», тогда как пояснение таких слов, как *бамбук* и *баобаб* не производит такого впечатления (ср. соответственно: «тропический древовидный злак с очень крепкой, внутри полый древесиной» и «гигантское тропическое дерево с очень толстым стволом») [ibid.]. Все дело в том, по мнению С.Д. Кацнельсона, что о ели мы узнаем очень рано, нередко ведя наше знакомство с ней от новогодней елки, тогда как о тропических растениях в наших широтах узнаем гораздо позже. Многие в определении ели (вечнозеленость, конусообразность формы, чешуйчатость шишек) представляется нам более сложным, чем сам по себе предмет. Но такие же элементы в определении бамбука (тропический, древовидный, полый древесина) нас не смущают и представляются нам вполне уместными. Вряд ли, однако, точно так же воспримет определение бамбука житель Сухуми, имевший возможность рано познакомиться с данным растением с помощью «наглядного определения» [Op. cit.: 22–23].

Приведенный пример иллюстрирует результаты работы лингвиста с «мертвым» словом (языком), которое остается чужим как для говорящего на родном языке, так и для изучающего иностранный язык. «Мертвый-письменный-чужой язык» – так характеризует М. М. Бахтин язык лингвистического мышления, служащий не только исследовательской, но и преподавательской цели [Бахтин 2010: 67]. Педагогическая задача лингвистики, в отличие от исследовательской (эвристической), по мнению автора, состоит уже не в «разгадывании языка», а в «научении разгаданному языку» [ibid.].

Современный психолингвистический подход к изучению слова, своего ли, чужого (иноязычного), во многом перекликается с идеями М. М. Бахтина по поводу разграничения «языка как системы нормативно тождественных форм», как «себе тождественной формы» и языка, «неотделимого от своего идеологического и жизненного наполнения в процессе своего практического осуществления». Эта мысль М. М. Бахтина созвучна обоснованию специфики психолингвистического подхода к анализу языковых феноменов. Заслуживает внимания психолингводидактов и трактовка Бахтиным «здоровых методов обучения

живому иностранному языку», сущность которых сводится, в частности, к тому, «чтобы знакомить обучающихся с каждой языковой формой лишь в конкретном контексте и в конкретной ситуации». Говоря иначе, «форма должна усвоиться не в абстрактной системе языка как себе тождественная форма, а в конкретной структуре высказывания как изменчивый и гибкий знак» [Ор. cit.: 63–64].

Идея формы, применимая к языку и слову, восходит к В. Гумбольдту, в ученье которого особое место занимает внутренняя форма языка, трактуемая как специфический способ объединения звукового материала и психического содержания, «сугубо индивидуальный порыв, посредством которого тот или иной народ воплощает в языке свои мысли и чувства» [Гумбольдт 1985: 71].

Отталкиваясь от ключевых идей В. Гумбольдта, А. А. Потебня создает свою лингвофилософскую концепцию, в которой понятие внутренней формы языка Гумбольдта развивается до более частного понятия внутренней формы слова. По Гумбольдту внутренняя форма живет в языке как душа в теле. А. А. Потебня считает это справедливым и для слова: его интересует психологический аспект слова – его душа.

Внутренняя форма слова как «средство апперцепции» играет значимую роль в познании и общении, что обусловлено ее чувственной природой. По мнению А. А. Потебни, «слово, взятое в целом, как совокупность внутренней формы и звука, есть, прежде всего, средство понимать говорящих, апперцептировать содержание его мысли. Членораздельный звук, издаваемый говорящим, воспринимаясь слушающим, пробуждает в нем воспоминание его собственных таких же звуков, а это воспоминание посредством внутренней формы вызывает в сознании мысль о самом предмете» [Потебня 1976: 93].

Внешняя форма нераздельна с внутренней, меняется вместе с нею, без нее перестает быть сама собою, но, тем не менее, совершенно от нее отлична. А. А. Потебня иллюстрирует это отличие на примере слов разного происхождения, которые получили с течением времени одинаковый выговор: для малороссиянина слова *мыло* и *мило* различаются внутренней формой, а не внешней [Ор. cit.: 124].

Проводя параллель с восприятием художественного произведения, А. А. Потебня обращает внимание на чувство эстетического наслаждения, которое сопровождает понимание произведения, так же, как и осознание внутренней формы в слове за счет воссоздания «символизма слова». «Для восстановления в сознании красоты слова *báltas* нужно знание, что известное нам его содержание условлено другим, именно значением белизны: *báltas* значит добрый и проч. потому, что означает *белый*, точно также как русское *белый*, *светлый* значит, между прочим, *милый*, именно вследствие *своих значений albus, lucidus*» [Новикова 2011: 177].

Если «символизм языка», по мнению А. А. Потебни, является «его поэтичностью», то «забвение внутренней формы слова» – наоборот, кажется ученому «прозаичностью слова» [Потебня 1976: 124]. Следуя этой логике, восстановление внутренней формы прозаичного, обыденного слова приводит к его «воскрешению».

Об это говорит В. Б. Шкловский, один из ключевых представителей русского формализма, отталкиваясь от утверждения, что «всякое слово в основе – троп». Однако слова «служат, так сказать алгебраическими знаками и должны быть безобразными, употребляясь в обыденной речи, когда они не договариваются и не дослушиваются, – стали привычными, и их внутренняя (образная) форма и внешняя (звуковая) формы перестали переживаться» [Шкловский 1990: 36]. С точки зрения Шкловского, причины «забвения», о котором упоминает А. А. Потебня, заключаются в привычности восприятия: «Мы не переживаем привычное, не видим его, а узнаем. Мы не видим стен наших комнат, нам так трудно увидеть опечатку в корректуре, особенно если она написана на хорошо знакомом языке, потому что мы не можем заставить себя увидеть, прочесть, а не “узнать” привычное слово» [ibid.].

В отечественной психологии тема формы рассматривается в работах Л. С. Выготского при обсуждении внутренней формы слова и художественной формы. Психолог акцентирует активное начало формы, прибегая к следующему сравнению: «...форма меньше всего напоминает оболочку, как бы кожуру, в которую облечен плод. Форма, напротив, раскрывается при этом как активное начало переработки и преодоления материала в его самых элементарных и косных свойствах» [Выготский 2001: 140].

Направляя свое внимание на разные стороны «внутреннего», Л.С. Выготский неодинаково обозначает то, что подразумевается как внутренняя форма, например: «внутренний образ слова», «внутреннее сравнение», «внутренняя картина, или пиктограмма», «условные звуки, связанные с внутренним образом», «внутренняя сторона слова», которая является значением и т.п., на что обращает внимание В. П. Зинченко [Зинченко 2000: 8]. Тем не менее, в рассуждениях о слове с психологических позиций, у Л. С. Выготского есть прямое указание на существование в каждом слове внутренней формы, или образа, который помещается между звуковой формой и значением как второй элемент из трех названных [Выготский 2001: 188]. Внутренней формой психолог называет при этом ближайшее этимологическое значение, при помощи которого слово приобретает возможность означать вкладываемое при этом содержание. Во многих случаях эта внутренняя форма забылась и вытеснилась под влиянием все расширяющегося значения слова. Однако в другой части слов эту внутреннюю форму обнаружить чрезвычайно легко, а этимологическое исследование показывает, что даже в тех случаях, в

которых сохранилась только внешние формы и значение, внутренняя форма была и только забылась в процессе развития языка [ibid.]. Ср. одну из формулировок внутренней формы слова у А. А. Потебни: «В слове мы различаем: внешнюю форму, то есть членораздельный звук, содержание, объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание» [Потебня 1976: 175].

Сложность психологического подхода к проблеме формы в целом афористично обозначается В. П. Зинченко как «обманчивое внешнее и таинственное внутреннее» [Зинченко 2000]. Ключевыми понятиями концепции формы, созданной В. П. Зинченко, являются живой язык, живое слово и живое движение, избыточность которых «требуется для своего описания привлечения и разработки законов биомеханики, физиологии и психологии активности» [Op. cit.: 60]. Исследователь подчеркивает принципиальную общность строения действия, слова, образа, которая «скрыта в глубине, в их внутренних формах», а их «знакомость друг с другом, взаимная проницаемость, возможность диалога и “обмена опытом” вытекают из гетерогенного строения каждой из них, что и составляет тайну их взаимодействия и продуктивности» [Op. cit.: 86]. Автор заключает, что, подобно слову, которое в своей внутренней форме может иметь образ, действие, мысль и аффект, наблюдаемое предметное действие «может содержать в своей ненаблюдаемой внутренней форме и слово, и образ, и мысль, и оценку, и мотив, и аффект» [Op. cit.: 166]. Непростые взаимоотношения между словом, действием, образом и мыслью обусловлены обратимостью внешних и внутренних форм. Это свойство обратимости форм обеспечивает «механизм взаимного опосредования». «Его участники – действие, слово, образ постоянно “прорастают” друг в друга, обогащают внутренние формы каждого, на чем и строится их искомое смысловое единство» [Op. cit.: 108]. Возможность подобного прорастания усиливает порождающие потенции внутренних форм, которые обозначаются автором как «способные к развитию животворящие формы» [Op. cit.: 167].

В лингвистических исследованиях внутренняя форма может рассматриваться в качестве компонента семантической структуры слова, которая не всегда оказывается нейтральной по отношению к этой структуре в целом [Варина 1976: 243]. «Будучи динамическим компонентом значения, внутренняя форма в некоторых случаях выдвигается на первый план и обуславливает семантику лексических единиц и ее значимость в полисемантической структуре слова» [ibid.].

В лингвистике также существует мнение о внутренней форме слова как его мотивировке: «Мотивировка есть как бы способ изображения данного значения в слове, более или менее наглядный “образ” этого значения, можно сказать – сохраняющийся в слове отпечаток того

движения мысли, которое имело место в момент возникновения слова. В мотивировке раскрывается подход мысли человека к данному явлению, каким он был при самом создании слова, и потому мотивировку иногда называют «внутренней формой слова», рассматривая ее как звено, через которое содержание (= значение) слова связывается с его внешней формой – морфологической структурой и звучанием» [Маслов 1987: 113]. Ю. С. Масловым подчеркивается «избыточность, даже ненужность мотивировки с того момента, как слово становится привычным». Автор указывает необходимость мотивировки в момент рождения слова (или в момент рождения переносного значения). Однако, раз возникнув, новое слово (или новое значение слова) начинает «жить своей жизнью». За счет многократных повторений в речевых актах оно запоминается, к нему привыкают, на нем, на его структуре перестают останавливаться мыслью. Мотивировка как бы «уходит в тень», почему и становятся возможным *красные чернила, розовое белье* и т.д. Мы вспоминает о мотивировке в каких-то специальных, редких случаях. В подобном «замороженном» состоянии она может сохраняться долго, но достаточно небольшого изменения в значении производящего слова, и она забывается совсем. Показательно, что и самые важные слова принадлежат к немотивированным [Ор. cit.: 114].

По мнению И. Л. Медведевой, причиной противоречий в трактовке внутренней формы слова в лингвистике является стремление исследователей к четкому разграничению «синхронии» и «диахронии», а также «субъективного» и «объективного» в системе языка и игнорировании предупреждения о недопустимости смешения исторического словообразования и синхронического исследования лексики (О.Н. Трубецкой) [Медведева 1994: 32]. Названные причины противоречий при обсуждении феномена внутренней формы слова снимаются, если слово рассматривать как достояние индивида, т.е. если в центр исследования ставится носитель языка (См., например: [Зинченко 2000] и др.).

На специфику психолингвистического подхода к трактовке внутренней формы слова и ее роли в когнитивных процессах обращает внимание Т. М. Рогожникова, которая, изучая «суггестивный потенциал вербальной модели», пришла к выводу, что внутренняя форма слова коррелирует с тем, что понимается ею как «суггестивная сила» слова или текста [Рогожникова 2013]. Именно «суггестивный лик» вербальной модели, на взгляд автора, отвечает всем тем требованиям, которые на сегодняшний день предъявлены к понятию «внутренняя форма», и которые до сих пор не прописаны полностью [Ор.cit.]. Т. М. Рогожникова убеждена, что анализировать «силу вербальной модели» с помощью традиционного лингвистического инструментария нельзя. Необходим не просто иной арсенал методов, но и иные единицы анализа. Во-вторых,

суггестивный потенциал или «сила» вербальной модели не лишена формы субстанции. Более того, она не просто организует субстанцию, от нее зависит организация внешней формы. В-третьих, эта «сила» является внутренней формой языка, она увязана с законами действия слова [Op. cit.].

Идеи о внутренней форме Т. М. Рогожниковой нашли развитие в исследовании Г. Р. Кочетовой [Кочетова 2014], нацеленном на изучение «ассоциативной цветности» как проявления внутренней формы вербальной модели. На основе экспериментальных данных автором были созданы цветовые матрицы звукобукв башкирского и татарского языков. В ходе эксперимента с носителями названных языков были зафиксированы «реакции-сращения» как промежуточные элементы ассоциативного процесса. Некоторые из них свидетельствуют, по мнению автора, о возникновении образов, в большинстве случаев связанных с цветностью. Обозначенные реакции, полученные от носителей башкирского и татарского языков, характеризуют аспект «внутренней формы» исследуемой звукобуквы [Op. cit.].

Перечисленные В. Г. Вариной случаи проявления внутренней формы слова такие, как «перевод с одного языка на другой, процесс обучения иностранному языку, акт коммуникации носителей разных языков (устное общение), чтение на иностранном языке художественной, публицистической или специальной литературы» [Варина 1976: 239] могут быть дополнены результатами психолингвистических экспериментов, среди которых обнаруживаются реакции испытуемых, квалифицируемые как манифестации того или иного аспекта внутренней формы стимула.

При идентификации незнакомых слов родного языка, слов иностранного или искусственного языков разнообразное ассоциативное поведение участников эксперимента может быть сведено к одной стратегии, разворачивающейся на разных уровнях, когда испытуемые опираются на морфологические элементы слова, совпадающие с исторической мотивацией, «примысливают» слову внутреннюю форму в духе «народной этимологии», предлагают субъективную дефиницию значений слова, опирающуюся на его фоносемантический образ и т.п.

Немаловажно, что актуализация внутренней формы слова родного или изучаемого языка его носителем сопряжена с эстетическими и эмоциональными переживаниями, так как «внутренняя форма образована чувственной или биодинамической тканью индивида, наполняющей внешнюю форму слова личностными смыслами, переживаниями, эйдетической энергией – энергией образа» [Зинченко 2006: 6].

При усвоении иноязычного слова индивидом внутренняя форма играет роль своеобразной опоры, сопровождая процесс усвоения эмоционально-оценочными переживаниями, которые формируют необходимый аффективный и эстетический опыт для дальнейшего

успешного овладения языком. По наблюдениям Э. Йомен, «аутентичный диалог на чужом языке возможен только тогда, когда значение слова проникнуто эмоциями и связано с опытом» [Yeoman 1996: 604]. Названные характеристики значений являются признаками «живого» слова, то есть единицы, которая не ощущается «как слово, чреватое всеми теми категориями, какие оно порождает в лингвистическом мышлении» [Бахтин 2010: 68]. Направленность на «другого» отличает живое слово от слова как единицы языковой системы.

Отпечатки разнообразных высказываний, следы текстов, которые несет в себе живое иноязычное слово, обеспечивают его эмоциональную значимость для индивида, что влияет и на личностное самоощущение обучаемого. Это же, в свою очередь, обеспечивает слову переход границы между сферами «чужого» и «другого», а также создает условия для приобретения статуса «своего» – усвоенного иноязычного слова, способного функционировать в ментальном лексиконе наравне с родным.

Взаимодействие родного и иностранного языков в индивидуальном сознании зафиксировано в ряде экспериментальных исследованиях, посвященных изучению функционирования разных типов слов при учебном двуязычии, выполненных за последние десять лет. В работах, речь о которых пойдет ниже, установлено, что ассоциативное поведение испытуемых – носителей англо-русского учебного билингвизма обусловлено рядом факторов, среди которых выступает родной язык.

Влияние родного языка и культуры обнаруживается при анализе ответов испытуемых, студентов вузов, изучающих иностранный язык с разными целями. Так, в исследовании И. В. Новиковой [Новикова 2011], в котором изучаются стратегии доступа к полиморфемному слову английского языка, показано, что влияние родного языка и культуры имеет как интерферирующий, так и стимулирующий характер. Активность проявления «следов» родного языка в количественном отношении преобладает у студентов, изучающих английский на младших курсах, т.е. зафиксирована прямая зависимость использования опор на родной язык при опознании вербального стимула от уровня владения английским. Взаимодействие родного и изучаемого языков раскрывается на уровне «межъязыковых реакций», которые квалифицируются автором как «опоры на внутреннюю форму слова как промежуточный элемент ассоциирования», например, INDIGNATION – *индиго* – *джинсы*; COMFORTABLE – *камфора* – *масло*; ENTERTAINING – *Интернет-сайт, ресурс* и т.п.

Здесь уместно сослаться на мнение И. Л. Медведевой о манифестации внутренней формы психологической структуры значения слова в экспериментах. Исследователь отмечает, что «... эти опоры могут представлять собой, с точки зрения лингвистики, достаточно странные нелогичные образования, однако именно они оказываются надолго

закрепленными в ассоциативном поле усвоенной языковой единицы как следы активности индивида при ее восприятии [Медведева 1995: 159].

Рассматривая преодоление лексической неоднозначности учебными билингвами, В. М. Беляева [Беляева 2015] установила, что испытуемые – студенты, изучающие английский на профильном направлении, при дефинировании предъявленных стимулов – английских существительных с более чем одним значением без контекста – в качестве приоритетной опоры использовали перевод или «псевдоперевод», то есть опору на родной язык. При этом стратегия испытуемых менялась, когда то же слово предъявлялось в контексте. Внимание автора было направлено на роль контекста и субъективной частотности слова в выборе единственно «нужного» значения, тем не менее, тенденция к сокращению обращений к родному языку как опоре для толкования или опознания предъявленных стимулов по мере продвижения к старшим этапам обучения не прошла незамеченной автором.

По наблюдениям М. А. Карцовой [Карцова 2020], изучавшей механизмы доступа к контаминанту в ментальном лексиконе носителей учебного англо-русского билингвизма, степень влияния родного языка и культуры на «распаковывание» бленда находилась в определённой зависимости от уровня владения изучаемым языком: чем более незнакомым казался испытуемым стимул по причине отсутствия или неполноты фоновых знаний и / или недостаточной лингвистической подготовки, тем большее значение имел принцип опоры на родной язык. Полученные экспериментальные данные позволили автору установить, что успешность опознания значений контаминированных слов в целом связана с уровнем сформированности лингвистической компетентности у испытуемых, с объёмом и качеством словаря родного и изучаемого языков, а также с запасом фоновых знаний родной культуры и культуры изучаемого языка.

В связи с этим автор склонен считать, что результаты идентификации контаминанта в целом коррелируют с уровнем лингвистической компетентности (уровнем владения иностранным языком), который формально соотносится с этапом обучения. Однако часто успешность идентификации, т.е. опознание значения контаминанта, принятого в социуме, в большей степени зависит от социокультурной эрудиции индивида, его осведомлённости о политических и культурных событиях, происходящих в современном мире.

В подтверждение последнего тезиса можно привести извлеченный из работы М. А. Карцовой пример реагирования на стимул БРЕКСИТ, который был идентифицирован некоторыми испытуемыми как *место для отдыха в офисе; место для отдыха*, очевидно, с опорой на английскую лексику *break* или с опорой на звукобуквенный комплекс: *похоже на брекеты, возможно, из сферы стоматологии и ортодонт-систем*. Обе

опоры оказались дезориентирующими и свидетельствуют об оторванности испытуемых от текущей политико-культурной ситуации в Великобритании, что заставило их обратиться к знакомым словам изучаемого английского в первом случае и родного языка – во втором.

Практическая значимость проведенных исследований связана с возможностью использования их результатов в процессе обучения иностранному языку с учетом специфики когнитивных процессов, имеющих место при усвоении, сохранении и извлечении информации из памяти. Обнаруженные стратегии, к которым прибегали испытуемыми в экспериментальных ситуациях, могут рассматриваться как оптимальные средства использования доступной для обучаемых информации. Выбор тех или иных стратегий для совершенствования компетенции в изучаемом языке будет зависеть от типа знания, который требуется для решения той или иной задачи, то есть, от того, используется ли эксплицитное/имплицитное языковое знание или общие знания о мире.

Разработанная концепция ядра ментального лексикона индивида как естественного метаязыка (См.: [Золотова 2004] и др.) сохраняет свою значимость и в условиях двуязычия. Формирование языковых/речевых навыков в методическом аспекте тесно связано с вопросом отбора иноязычной лексики для первичного предъявления обучающимся. Традиционным основанием для составления лексических минимумов считается частотность слова, зафиксированная в частотных словарях. Однако критерий частотности не может считаться надежным, так как полностью зависит от размеров корпуса и жанров входящих в него текстов. Есть основания полагать, что именно психологическая ценность слова для носителя языка как личности делает его наиболее употребляемым (частотным) в речи/языке. Концентрация таких слов в ядро есть одно из универсальных проявлений устройства ментального лексикона человека независимо от его этнической принадлежности. Единицы ядра ментального лексикона характеризуются выраженной степенью конкретности, образности, эмоциональности, они усваиваются в первые годы жизни ребенка и служат целям идентификации, конкретизации, приобщению к живому знанию новых усваиваемых единиц лексикона, которые увязываются друг с другом по многим параметрам. Особого внимания заслуживает метаязыковая функция таких единиц, которая заключается в использовании последних в качестве необходимых средств доступа к другим, более сложным понятиям, выполняя, таким образом, роль слов-идентификаторов. Следует подчеркнуть, что эта роль рассматривается на фоне разграничения первичного метаязыка индивида («наивного» носителя языка) и вторичного метаязыка, который используется лингвистом, строящим описательную модель исследуемого объекта.

При обсуждении проблемы знака с точки зрения сознания М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорским [Мамардашвили, Пятигорский 1996] был введен термин «прагмема», который используется в концепции естественного метаязыка для обозначения единиц ядра ментального лексикона, способных спонтанно воспроизводиться в качестве первичных метаобразований, или функциональных ориентиров, обеспечивающих прагматическую связь индивида с ситуацией его деятельности.

Определение круга «безусловных» прагмем и прагмем, нуждающихся в корректировке в зависимости от изучаемого языка, составляет содержание обучения лексике на начальном этапе овладения вторым/неродным языком и составляет необходимую базу для его активного использования, а также обеспечивает выход на определенный фрагмент образа мира культуры изучаемого языка.

Анализ некоторых источников, так или иначе связанных с взаимодействием художественно одаренной билингвальной личности с разными культурами, а также рассмотрение научных исследований, нацеленных преимущественно на изучение функционирования иноязычного слова в сознании билингва, подтверждают актуальность психолингвистического подхода к изучению проблем двуязычия, в частности учебного. Обнаруженные закономерности при анализе экспериментальных данных способствуют развитию психолингводидактики, в основу которой положены принципы организации ментального лексикона А. А. Залевской.

ГЛАВА 2

ИМЕНОВАНИЯ «ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Рассматриваются проблемы словообразовательной, лексико-семантической и герменевтической интерпретации лексем и словосочетаний, именующих фундаментальные «традиционные ценности». Автор утверждает возможность рассматривать традиционные ценности в контексте ключевых особенностей национального характера россиян, опираться на тот перечень традиционных ценностей, который представлен в официальных документах Российской Федерации. Основной результат: филологический анализ именовании традиционных ценностей способствует решению задач гражданского воспитания.

Ключевые слова: *традиционные ценности; Конституция; лексико-семантическое поле; герменевтика; мотивационная семантика; внутренняя форма слова.*

Введение

Российская цивилизация, как и любая другая исторически успешная, строится на фундаментальных «традиционных ценностях», которые в другом понятийном ракурсе предстают как «менталитет», «национально-культурный код», «национальная идея» и др. (основательный обзор вопроса, в частности: [Гулыга 2018]). Актуальная версия доминанты этого условного синонимического (квазисинонимического) ряда – понятие «традиционные ценности», которые, одновременно, – и ядро русского национального характера (менталитета), и наша «национальная идея».

Что имеют в виду, говоря о «традиционных ценностях»? Как правило, носители разных культур, религий, экономических и идеологических систем имеют в виду разное, при наличии некоей общей части, фундирующей самой внутренней формой существительного *традиция*: из лат. *traditio* ‘передача; предание; установившееся издавна мнение, привычка’ – от *tradere* ‘отдавать в распоряжение, передавать; передавать по наследству, завещать; поверять, рассказывать’ < *trans* ‘сквозь, через’ + *dare* ‘давать’. Отсюда: *традиционные ценности* – то ценное (прежде всего в морально-нравственном плане), что *по традиции* досталось от прошлых поколений, обеспечивает необходимую стабильность настоящего и уверенность в будущем.

Проблема – огромное разнообразие бытующих в гуманитаристике версий относительно перечня особенностей русского национального характера, фундаментальных «традиционных ценностей» нашей цивилизации и спорах о существовании «русской идеи».

Актуальность – в необходимости по возможности строго (1) выстроить список ключевых ценностей, (2) интерпретировать полученный набор именовании.

Поясним. В лингвистической и лингвокультурологической проекциях вопрос о ценностях – это **вопрос о списке лексем** – компактных однословных именовании различных аспектов того историко-культурного явления, именуют «традиционными ценностями». Такой список – концентрированное перечисление основных объектов дальнейшего исследования в различных его аспектах (лексико-семантический, морфемно-словообразовательный, этимологический, страноведческий и т. д.).

Важно подчеркнуть: с собственно филологической точки зрения, искомый список – вполне «обычные» слова русского языка, словно ничем не примечательные, но в них – глубокие смыслы, фиксирующие «традиционные ценности», которые в современных условиях нужно понимать и защищать. Например, в статье 72 Конституции наличествуют существительные *семья* и *брак* в значении «союз мужчины и женщины» [Конституция Российской Федерации 2020: 18], и полезно филологическое размышление: поскольку существительное *брак* – от глагола *брать*, то кто, кого, зачем, куда *берёт* (см.: [Волков 2020б]). Первая строка Гимна России: «Россия – священная наша держава...», во втором куплете: «Хранимая Богом родная земля!», и вместе – о сакрально-религиозной основе государственности, а значит, в словах гимна «скрыто извечное стремление к живому ощущению Божьего присутствия, к смиренному соработничеству с вышними силами» [Волков, Волкова, Гладилина 2021: 112]. Полезно иметь в виду: Бог хранит нашу землю (= народ и страну), если мы – с Ним, в своих чувствах и мыслях, намерениях и делах.

Цель данной работы – лингвогерменевтическая реконструкция значений и смыслов, репрезентируемых русскими именовании «традиционных ценностей», совокупность которых трактуется как целостное лексико-семантическое микрополе, отражающее цивилизационное своеобразие России и ключевые особенности менталитета русского народа.

Материал – список именовании «традиционных ценностей». Словосочетание «традиционные ценности» пишем в кавычках, чтобы обратить внимание: содержание и объем данного понятия (перечень конкретных именовании) могут трактоваться по-разному, в зависимости от того, как понимается национальная *традиция* (какие именно историко-культурные, религиозные, обиходные и иные представления о *ценностях* подразумеваются). Снимая кавычки, мы тем самым (как бы) утверждаем: набор «традиционных ценностей» нам известен, мы готовы его предъявить и объяснить.

Основной метод – филологическая герменевтика, центрированная на задаче осмысления «традиционных ценностей» как глубинной основе русского менталитета. Средство осмысления – лингвогерменевтическое «всматривание» в структуру и семантику ключевых слов, выделение опорных семантических компонентов, выявление и интерпретация скрытых смыслов, затем осмысление / интерпретация полученных данных (пример технологии исследования: [Волков 2020a] и др.). Иными словами, к глубинному содержанию – через язык: пользуясь методами лексико-семантического, морфемно-словообразовательного и других видов лингвистического анализа, «всматриваться» в структуру и семантику слов, которые именуют главные национально-специфические особенности россиян.

Путь исследования – от лингвистического анализа к объяснению-пониманию (фиксируем неразрывность процессов «объяснение + понимание» в виде цельного сложного слова *объяснение-понимание*). Начало объяснения-понимания может быть связано с актуализацией внутренней морфемно-словообразовательной формы или с обращением к словарям с целью получить лексико-семантические толкования – если речь об отдельной лексеме; а если о словосочетании, то можно начать не с семантики или морфного состава отдельных слов, а, например, с типа синтаксических отношений или со структурных особенностей словосочетания.

Практическая ценность (сверхзадача работы) – продвинуться в осмыслении цивилизационного своеобразия нашей страны – России и себя как граждан нашей страны.

Вопрос о перечне и систематике «традиционных ценностей»

Каковы возможные **источники списка именованных** ценностей? Специфика этого вопроса в лингвистическом контексте – в слове *список*, то есть «просто» перечень конкретных лексем. В этом серьезная трудность, неочевидная для людей, специально лингвистикой не занимавшихся.

Можно предположить, что самый очевидный и вполне доступный источник сведений о «ценностях вообще» – это наука аксиология с ее многовековой традицией, где во многих тысячах специальных работ искомые списки, казалось бы, «имеются». Увы, «имеются» – пишем этот глагол в кавычках, так как пригодность этих «списков» для дальнейшего филологического исследования проблематична.

Поясним. В аксиологии **ценность** определяется как «одна из основных понятийных универсалий философии, означающая в самом общем виде невербализуемые, “атомарные” составляющие наиболее глубинного слоя всей интенциональной структуры личности – в единстве предметов ее устремлений (аспект будущего), особого переживания-

обладания (аспект настоящего) и хранения своего “достояния” в тайниках сердца (аспект прошедшего), – которые конституируют ее внутренний мир как “уникально-субъективное бытие”» [Шохин 2010: 320–321]. Из этого определения следует, что *именованиями ценностей* «теоретически» можно считать неопределенно обширное количество языковых единиц.

Скажем, для выявления лексем, именуемых так называемые «общечеловеческие ценности», «теоретически» можно взять «Всеобщую декларацию прав человека» [Всеобщая декларация прав человека] – официальный документ ООН, а также авторитетные научные публикации, специально посвященные вопросу «общечеловеческих ценностей», которые содержат необходимые перечни лексем (например: [Ефимов, Таланов 2008(а,б)]), и подходящие лингвометодической работы (ср.: [Черкес, Флянтикова 2017]). И что в результате?

Во-первых, список «всего важного» для людей неопределенно обширен и склонен, расширяясь, регрессировать в «дурную бесконечность» (ср.: *жизнь, добро, красота, истина, любовь, дружба, наука, знания, искусство, природа...*). Во-вторых, лингвокультурологический и страноведческий подходы предполагают внимание именно к русской истории и культуре (немного о прошлом, больше о настоящем), и решать вопрос о содержании понятия «традиционные ценности» (русской цивилизации / культуры) путём сведения его к «общечеловеческим ценностям» – едва ли корректно / продуктивно.

Каковы возможные источники списка «традиционных ценностей» именно русской цивилизации, соотносящихся с особенностями русского национального характера (менталитета)? Например, традиционные христианские ценности и «антиценности» (типа *смирение – гордыня / гордость, чревоугодие / обжорство – умеренность в еде* в т. п.), перечень таких ключевых особенностей русского менталитета, как *воля, удаля, подвиг, коллективизм, соборность* и др. [Волков, Волкова, Гладилина 2019], профильные философские труды, непосредственно отсылающие к проблематике русской ментальности (классический пример – «Характер русского народа» Н.О. Лосского [Лосский 1991]), многообразные работы, связанные с феноменом «русского пути» или «русской идеи» [Гулыга 2018], суждения политических лидеров или писателей, слова с национально-специфической семантикой и мн. др. (см., в частности: [Волков, Волкова, Гладилина 2021; [Зализняк., Левонтина, Шмелев 2005]; [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2012]). Каждый из вариантов – приемлем, и каждый – весьма субъективен.

Учитывая все более обостряющуюся необходимость ясного и по возможности однозначного ответа, в чем же именно состоит своеобразие русской / российской цивилизации и отстаиваемых ею «традиционных ценностей», думается, в целях снижения рисков субъективности

целесообразно опираться на официальные государственные документы, в ряду которых наиболее значимым, помимо Конституции России, включая текст Гимна нашей страны, представляется недавно утвержденный Указом Президента Российской Федерации документ под показательным названием «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Цитируем: «К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России» [Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей]. В дальнейшем именно этот список «Основ...» полагается в основу данного исследования.

Лексико-семантический статус этого списка целесообразно интерпретировать как **общественно-политическая лексика**, поскольку представленные единицы отражают не только / не столько морально-нравственные ценности как внутренние свойства (отдельного) человека, сколько качества народа / нации в целом, значимые в социально-политическом и социально-психологическом отношении, характеризующие человека / людей через особенности его / их – поведения / отношения к другим людям, к труду, государству и обществу.

Поскольку, как известно, в современных условиях «общественно-политическая лексика претерпевает радикальные семантические изменения» [Волков 2021: 36], то элементы данного списка – отдельные лексемы и словосочетания различных типов – целесообразно разделить на две лингвоаксиологические группы в зависимости от того, насколько они значимы / специфичны для Российской Федерации именно в данный исторический период (начало 20-х годов XXI века), насколько своеобразно их страноведческое и лингвокультурное прочтение.

1. «Вневременные» ценности, значимые для любого исторического периода: *жизнь, достоинство, права и свободы человека, высокие нравственные идеалы, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России.*

2. «Актуализованные» ценности, имеющие особое значение для России в данное время: *патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, крепкая семья, созидательный труд, справедливость, коллективизм, историческая память и преемственность поколений.*

Разумеется, деление названных в «Основах государственной политики...» традиционных ценностей на эти две аксиогруппы и их распределение по группам вполне условны. Цель группировки – не академически строгая, а прикладная систематизация, филологически «просветительская», в условиях условного «вынесения за скобки» вопроса о специфике современного исторического момента (ср.: [Оганесян 2019]), и польза выделения ценностей как условно «актуализованных» – сначала в установке на осмысление и обсуждение тех страноведческих обстоятельств / причин, которые обуславливают целесообразность их выведения в «светлое поле внимания», затем в попытках установить их лексические значения и ментально значимые смыслы.

Гражданин, гражданственность

Гражданственность – «длинное» слово, в словообразовательном и морфемном отношении непростое, что ставит перед выбором из (минимум) двух вариантов: 1) актуализовать семантику корня: *град / город*, откуда *горожанин* ‘житель города’ и *гражданин*, имеющий живое, непосредственное отношение к столичному *граду*, а значит – ко всей стране; 2) актуализовать семантику словообразовательных аффиксов, то есть начать всматриваться и вдумываться в слово *гражданственность* не «от корня», а «с конца»: поскольку слово на *-ость*, значит, *гражданственность* – какое-то свойство / чувство человека, связанное с его ощущениями *гражд-анин-а*, – и так подбираемся к семантике корня.

В семантике лексемы *гражданин* при вдумчивом всматривании обнаруживаются семантические компоненты, остро специфические именно для русского / российского менталитета. Специфичность усматривается уже при сопоставлении, например, с исходным древнегреческим *polites* (из *polis* ‘город’), по отношению к которому русское сущ. *гражданин* может рассматриваться как семантико-словообразовательная калька, или с английским *citizen* (из *city* ‘крупный город’). В древнегреческом и английском одна и та же лексема выступает носителем таких двух метонимически связанных значений (‘горожанин’ > ‘гражданин’), для которых в русском языке используются отдельные лексемы. Русское *гражданин* подчеркнуто ассоциируется с тем, что речь идет совсем не обязательно именно о «жителе города» – «горожанине».

Сущ. *гражданин*, с одной стороны, собственно русское слово с характерным суффиксом *-анин* в значении «лицо по месту жительства» (*волжанин, северянин, южанин* и т. п.), с другой стороны, старо- и церковнославянизм с заимствованным корнем *град-*. При лингвистическом объяснении различий между исторически родственными, старославянским и исконно русским, корнями *город-* и *град-* пара примеров *гражданин* и *горожанин* – хрестоматийная. Неполногласие и полногласие. Русское чередование *д//ж* и старославянское *д//жд*. Почти всегда, помимо

фонетических и графических различий, обращаем внимание еще и на стилистические особенности: *град* – книжное и высокое («Красуйся, град Петров...»), *город* – стилистически нейтральное.

В отличие от пары *город* – *град*, стилистических различий у сущ. *гражданин* и *горожанин* нет. Лексические значения разные – это фиксируем как проблему-задачу: в чем разница? По актуализации внутренней морфемно-словообразовательной формы: в случае *горожанин* она совершенно прозрачна (по словообразовательному толкованию, *горожанин* – «житель *города*», толкование исчерпывающее), внутренняя форма сущ. *гражданин* прямому прочтению не поддается.

Почему не поддается? В когнитивной проекции, это классическая проблемная ситуация «от лингвистики», лингвогерменевтическая и лингвострановедческая задача. Теоретико-лингвистическое основание задачи: налицо опрощение, утрата актуальной семантико-словообразовательной соотносительности формально мотивирующего (исходного) и мотивированного (производного): *гражданин* – не «житель *града*» и, в общем-то, не (не совсем, не «просто») «житель». Семантический оператор «житель» узок и в силу этого недостаточен. Словообразовательное толкование не выстраивается, с одной стороны, по причине невозможности опереться на формально мотивирующее *град*, с другой стороны, в силу некорректности толкования через оператор «житель», из чего следует необходимость искать: 1) что подразумевается под «град», 2) какие квазисинонимические замены годятся для «житель».

Обобщенно-проблематизирующая семантическая формула для осмысления существительного *гражданин* и соотносительного с ним понятия «гражданин»: «(некий) человек, находящийся в (неких специфических) отношениях – к чему?». Очевидный ответ на вопрос «в отношениях к чему / с чем?» – к «граду», понимаемому прежде всего как *страна, государство*. Далее можно экспериментировать: если «град» понимать как *родина / Родина, отечество / Отечество, Земля / земной шар, Вселенная* и т. д. – какие прочтения возникают?

Ядро результирующего лексико-семантического поля, возникающего из модели словосочетания «*гражданин* + сущ. в Род. падеже», основывается на формулировке «*гражданин* – какого государства?»: *России, Белоруссии, Китая...* Дальнейшую развертку этого ядра можно делать, опираясь на другие сочетаемостные модели, явствующие, в частности, из материалов Словаря сочетаемости [Словарь сочетаемости слов русского языка 1983], например: «сущ. в Им. падеже + *гражданина* (Род. падеж)»: *долг, права, обязанности, интересы, запросы, безопасность... гражданина*.

Таким образом, лексико-семантическая основа толкования и последующей интерпретации лексемы *гражданин* сводится к следующему: 1) идентификатор(ы), – по отношению к чему, в связи с чем находит свое

определение *гражданин* как особый социальный феномен: *государство, страна*; 2) конкретизаторы, понимаемые как (семантические) операторы связи *гражданина* как особого социального феномена с *государством / страной*: *долг, права, обязанности* и т. п.

Теперь можно вчитываться в целостные словарные толкования (включая, в частности, юридические) как лексемы *гражданин*, так и словообразовательно-семантически с ней связанных *гражданство, гражданский*, ср.: «**Гражданство**... устойчивая правовая связь человека с *государством*, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении *достоинства, основных прав и свобод человека*» [Тихомиров, Тихомирова 208: 226]. Это определение дает пищу для многих дальнейших размышлений, в частности: акцентируется именно *правовая* связь / отношения, – как это понимать? Все права, обязанности и ответственность человека / гражданина и государства носят *взаимный* характер, – в чем сходство и различие этих взаимосвязанных векторов «взаимности»? Почему существительное *свобода* в этом толковании во множественном числе («уважение... *свобод* человека»)? Почему существительное *права* (человека) – в сопровождении ограничительного определения: «уважение... *основных* прав и свобод человека»?

Дальнейшие, «углубляющие» лингвогерменевтические прочтения неявной семантической основы лексемы *гражданин* на основе актуализации морфемно-словообразовательного гнезда / гнёзд: 1) со старославянской огласовкой корня *град-*: *оградить, ограждать, ограждение – гражданина*; 2) с собственно русской огласовкой корня *город-*: *городить, огородить – горожанина*.

Конкретно-визуальные пространственно-наглядные отсылки к исторически исходным представлениям о *городе* как *огороженном* поселении, а следовательно, закрытом, защищенном от внешней среды, далее о *горожанах* как людях, живущих обособленно, изолированно, относительно замкнуто, явственно представлены в лексикографической классике. По В.И. Далю, изначальное (как принято говорить в этимологических и историко-семасиологических изысканиях, «старшее») значение существительного *город* – «городьба, ограда около жилья, поселения», далее производные значения, по метафорической и одновременно метонимической – «метаболической» связи: более узкое значение «укрепленное стенами место внутри селения» и более широкое значение «селение, обнесенное городьбой» [Даль 1999: 380]. Как-то жаль, что донныне остались только сущ. *горожанин / горожанка* в общем значении «житель / жительница города», – и лишь смутно ощущается вкрадчивое «очарование старины» в частных именовании *городник* ‘строитель оборонных укреплений’ и *градитель* ‘строитель (города)’, *градарь* ‘огородник’ и *горóдчик* ‘надзирающий за исправностью городских

стен', *городничий* и в напрашивающемся на возрождение ироничном *городомыка* 'кто беспутно шатается по городу'.

Обобщенно-юридические абстрактные (теоретико-правовые) отсылки к современным представлениям о *гражданстве* как правовом феномене, *ограждающем* (= защищающем и одновременно разумно ограничивающем субъективный произвол) лиц, находящихся в устойчивой правовой связи с государством, – составляют ядро семантики сущ. *гражданин* как юридического (детерминологизованного = специального, но общеизвестного и в меру общепонятного) термина. Парадоксально, что в существительном *гражданин* как термине подспудно-энантиосемично сочетаются представления, с одной стороны, об относительной «огражденности» гражданина от внешнего мира и от его собственной самовластительности, то есть об ограничении законом / государством свободы как личного произвола, – и, с другой стороны, о каузируемой именно этой «огражденностью» личной свободе. По четкой формулировке современного Лингвострановедческого словаря, *гражданин* – «В средневековых русских городах-республиках (см. **Великий Новгород**) – полноправный член городской общины», «обладающий правами свободный человек» [Россия 2007: 135]. «Огражденность» гражданина – не закрытость, не заточенность в огражденном тесном пространстве, не закрепощенность и замкнутость, а фундамент свободы, которую обеспечивает именно *город – град* как центр организованной, внутренне дисциплинированной силы.

Синоним (скорее, квазисиноним в силу весьма существенных семантических различий) лексемы *гражданство* – это *подданство*. Денотативно-референциальное различие очевидно: *гражданин* / *гражданство* – о республиканских формах правления (связь человека с государством как деперсонализованной властью, в своей постоянной личностной изменчивости тяготеющей к анонимности), *подданный* / *подданство* – это о монархических формах правления (связь человека с монархом, персонализирующим государственную власть и даже само государство).

Сигнификативное (понятийное, включая обыденные представления) различие *гражданина* и *подданного* менее очевидно. Буквальное прочтение внутренней формы сущ. *подданный* – «находящийся под данью», где *дань* – не столько в значении «подать, налог», сколько в значении «уважение, подчинение, необходимое или невольное, самопроизвольное следование». Отсюда: либерально настроенное политическое сознание ассоциирует *подданство* с безропотным подчинением, что каузирует тяготение к *гражданству* как возможности осмысленного вольного выбора способа своего мировоззренческого («идейного») и организационного взаимодействия с государством.

Это противопоставление афористически глубоко и точно в свое время поэтически сформулировал П.А. Вяземский («Негодование», 1820) [Вяземский 1986: 145]:

Здесь у подножья алтаря,
Там у престола в вышнем сани
Я вижу подданных царя,
Но где ж отечества граждане?

Гражданство в дальнейшем осмыслении: восхождение от представлений о своей необходимой связи со страной / государством – к представлению о связи с Отечеством (именно с большой буквы), которое одновременно и фундамент (основа) государства, и та высота всенародного (духовного, душевного и «телесного») единства, которому, в конечном счете, служат и государство, и составляющие его граждане.

Семантически смежная с *гражданственностью* лексема – *патриотизм*. Как явствует из актуализации внутренней формы этого слова (из др.-гр. *patria* ‘происхождение по отцу’ < *pater* ‘отец; основатель, родоначальник’), речь идет о глубинном ощущении кровного родства (русские слова *род* > *родство* / *Родина*), которое одновременно – и ощущение родства духовного, и желание продолжить – во всех смыслах – дело своих предков, включая деторождение, для чего необходимы *семья*, далее *труд*, который продуктивен лишь в условиях *коллектива* и сплавляющего его *коллективизма*, и – как вершина патриотизма – *служение Отечеству*, в котором патриотизм обретает наибольшую действенность.

Достоинство

Лексема *достоинство*, хотя по семантике почти интернационализм (ср., например, англ. *dignity*), в российской лингвокультурной и правовой традиции несет специфические окраски, связанные как с внутренней морфемно-словообразовательной формой (при всматривании в *достоинство* легко прочитываются морфемные связи с глаголами *стоять* и *сто́ить*, далее со *стойкий* > *стойкость* и *стоимость*), так и с правосознанием, с морально-этической и правовой культурой россиян.

Этическая составляющая базовой семантики сущ. *достоинство* («высокие моральные качества человека») ведет к исходным представлениям об этикете общения, связанным с глаголом *уважать*, правовая составляющая семантики *достоинства* результирует в юридическое понятие оскорбления, которое входит в число ключевых понятий административного, гражданского и даже уголовного права, ср., например, статью 5.61 – «Оскорбление» Кодекса об административных правонарушениях: «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица <...> влечет наложение административного штрафа...»

[Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях]. Нет необходимости подробно объяснять, что для того, чтобы не выходить за пределы этики и закона, полезно не только формально знать, но и по возможности понимать специфику *достоинства* как особого качества человека и феномена культуры.

В системе современного русского литературного языка сущ. *достоинство* функционирует как синтаксический дериват, тождественный либо очень близкий по лексической семантике мотивирующему прил. *достойный*, которое воспринимается носителями языка как непроизводное, поскольку очевидным образом на некоторые составляющие морфемы делится с изрядным трудом, вынуждая искать семантическую соотносительность с глаголами *стоять* (глагол, указывающий на положения тела в пространстве) и *сто́ить* (глагол, указывающий на цену, стоимость).

Лингвокультурный экскурс в вопрос о семантической соотносительности глаголов *стоять* и *сто́ить* представляется небесполезным, особенно в контексте размышлений об экономике. Ограничимся одной этимологической справкой: *сто́ить* – «собственно-русское новообразование на базе глагола *стоять*, тем не менее пережиток меновой торговли, когда выставленные на продажу товары “стояли” друг против друга до тех пор, пока их количество или объем не становились приемлемыми для обеих сторон» [Этимологический словарь современного русского языка 2010: 382]. Возможная вольная герменевтическая проекция на нынешнюю реальность: кто крепко *сто́ит* (например, в своих знаниях, в умении ими пользоваться) – тот больше *сто́ит* (например, в оценке за работу или на экзамене).

Прил. *достойный* > сущ. *достоинство* могут быть условно разъяснены на базе глаголов *стоять* и *сто́ить* через такие актуализующие внутреннюю форму слова морфемно-словообразовательные толкования, как, например: (1) *достойный* – «тот / та, кто крепко / хорошо *сто́ит* = хорошо знает предмет, отвечает на занятиях, выдерживает трудности и т. п.»; (2) *достойный* – «тот / та, кто *сто́ит* много = заслуживает одобрения, хорошей оценки и даже, наконец, глубокого чувства личного удовлетворения от достигнутого = высокой личной самооценки».

Причина опрошения, утраты живой связи прил. *достойный* с мотивирующими глаголами *стоять* и *сто́ить* в том, что современная абстрактная семантика высокой положительной оценки у этого прилагательного не нуждается в наглядно-зрительных (*стоять*) или деятельностных (*сто́ить*) опорах. Однако опрошение как утрата синхронной членимости (= демотивация) в данном случае не завершено: ассоциации с глаголом *сто́ить* ‘обладать ценностью или значимостью’ очевидны, хорошо просматриваются в академическом словарном толковании, ср.: *достойный* – «заслуживающий, сто́ящий чего-л. Человек,

достойный уважения. Он достоин похвалы» [Новейший большой толковый словарь русского языка 2008: 279]. Заметим, что семантика цены, поддающейся измерению в денежных единицах, типична для употребления глагола *сто́ить* в речевых ситуациях купли-продажи (*Сколько сто́ит молоко / книга? Завтра эти часы буду сто́ить дороже / больше*), но в ситуациях оценки личностных качеств человека актуализуется семантика не цены, а ценности. Одно дело *цена*: если речь о деньгах, то это «денежное выражение стоимости товара или услуг; плата»; иное дело *ценность*: если речь о ценности / достоинстве / достоинствах человека, то это «важность, значимость» [Ор. cit.: 1461–1462]. Мораль: *ценность* человека в *цене* (= в деньгах) не измеряется, слова *ценность* и *значимость* – синонимы, то есть близкие по значению слова, но с некоторыми различиями в семантике и употреблении, о чем можно подумать отдельно.

Актуализовать внутреннюю словообразовательную форму пары *достойный* > *достоинство* можно и через допущение, что налицо синхроническая отглагольная мотивация всей цепочки: *стоять* > *достоять* > *достойный* > *достоинство*. Через семантику глагола *достоять* («простоять до окончания чего-л., например, *достоять до конца спектакля*») прил. *достойный* может быть осмыслено в ряду таких квазисинонимов, как *сто́ящий, стойкий, правильный, упорный, настойчивый* и т. п., что представляет особый интерес в ситуации порождения / конструирования текстов с условным заголовком «Достойный человек... Какой он?».

Обращение к истории русского литературного языка – например, путём чтения Словаря В.И. Даля (см.: [Даль 1999: 479–480]), – свидетельствует о следующих значимых изменениях в сущ. *достоинство* на протяжении как минимум последних двух веков.

Во-первых, элемент *досто-*, акцентирующий достоинство / достоинства, особое значение того, что именуются в основной части слова, использовался как префиксоид (корневая морфема в функции префикса) в XIX веке и ранее шире, чем в современном русском, ср.: а) современные прилагательные *достоверный, достопамятный, достопочтенный, достопримечательный* и их производные; б) архаичные прилагательные *достоблаженный, достодивный, достодолжный, достожеланный, достоподражаемый, достославный, достохвальный* и др.

Во-вторых, в существительном *достоинство* В.И. Даль фиксирует различие конкретно-практических и отвлеченно-обобщенных представлений о ценности:

1) с одной стороны, *ценность* = пригодность видимой вещи для какого-либо сугубо практически значимого, «зримого» дела, чем обуславливается наличие у этой вещи стоимости: *достоинство* = *добротность, степень годности, качество* (изделия, товара) >

стоимость, ценность; примеры В.И. Даля: *Это сукно посредственного достоинства; Достоинство этого способа выделки известно*;

2) с другой стороны, *ценность* = высокое качество кого-чего-л., оцениваемого «внутри самого себя», безотносительно к стоимостной мере: *достоинство* = отличное качество или превосходство > сан, звание, чин, значение; пример В.И. Даля: *Он достиг высоких достоинств*.

В современном русском это лексико-семантическое различие отражается в морфологии, а именно: сущ. *достоинство* может выступать и как счетное (имеет формы ед. и множ. числа), и как несчетное – *singularia tantum*, выступает только в форме единственного.

Счётное *достоинство-1* = «положительное качество / качества», поддающиеся перечислению, исчислению, характеристике каждого качества по отдельности; типовая сочетаемость – *достоинства кого-чего: достоинства человека, работника, писателя, картины, книги, машины...*

Несчётное *достоинство-2* = «сознание своих человеческих прав, своей моральной ценности и уважение их в себе. *Считает ниже своего достоинства*» [Словарь русского языка 1981: 437]; типовая сочетаемость: а) *достоинство кого* (только об одушевленных существах, обычно о людях): *достоинство человека, женщины, мужчины, ребенка...*; б) *какое достоинство: собственное, человеческое... достоинство*.

Принципиальное отличие семантики *достоинства-2* от *достоинства-1* в том, что *достоинство-2* неотъемлемо от личности в целом, и унижение этого достоинства этически и юридически недопустимо.

Так, в специально-научном прочтении, в контексте этики как науки, *достоинство* – «в общем смысле слова – характеристика человека с точки зрения внутренней ценности, соответствия собственному предназначению» [Этика 2001: 126]. По характеристике Юридической энциклопедии, *достоинство* – «этическая и правовая категория, включающая осознание личностью и окружающими факта обладания совокупностью определенных моральных и интеллектуальных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе» [Тихомиров, Тихомирова 2008: 308].

Иными словами, *достоинство-2* – это (1) признание обществом особой, не зависящей ни от каких обстоятельств ценности человека именно как человека вообще и как конкретной личности, а на этой основе (2) признание самим человеком своей собственной особой, неотторжимой от него ценности себя, своего «я» как человека вообще и как конкретной личности, а равно признание такой же ценности за любым другим человеком.

Важно отметить, что частные, «счётные» достоинства человека значимы преимущественно лишь потому, что свидетельствуют о его абсолютном, «несчётном» человеческом достоинстве, ср. точную

формулировку А.П. Чехова в одном из его писем (М.Е. Чехову 18 января 1887 г.): «Дело в том, что в человеке величаем мы не человека, а его достоинства, именно то божеское начало, которое он сумел развить в себе до высокой степени» [Чехов 1975: 18]. Когда мы читаем в статье 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [Конституция Российской Федерации: 4], – то имеется в виду именно это достоинство человека (*достоинство-2*) как неотъемлемое от него нематериальное благо, наряду с жизнью, здоровьем, личной неприкосновенностью, честью и добрым именем, деловой репутацией и другими нематериальными благами, которые наше общество и государство защищают исходя как из этических, так и из тесно связанных с ними юридических оснований.

Таким образом, говоря о достоинстве человека, следует различать, с одной стороны, частные свойства человека, отдельные его достоинства, о которых можно и нужно говорить во множественном числе, с другой стороны, общее достоинство человека, которое не просто «сумма» частных положительных качеств, а абсолютная ценность сама по себе, неотъемлемое нематериальное благо. Слово *достоинство* в первом значении имеет антоним – *недостатки*, и человека можно не только хвалить за его частные достоинства, но и критиковать, даже осуждать за отдельные недостатки. У слова *достоинство* во втором значении нет антонима, унижение достоинства человека как абсолютной нематериальной ценности неприемлемо этически и преследуется по закону, юридически.

Милосердие

Лексема *милосердие* и соотносительный с ней концепт «Милосердие» отражают связь русской / российской цивилизации с христианством как одной из мировых религий. Религиозные корни концепта «Милосердие» связаны еще с Ветхим Заветом, где человеку предлагается понимать милосердие как необходимый шаг / шаги на пути богопознания и богоуподобления к святости. В общей богословской формулировке священника М. Юрова, «милость – это определенная вершина боговедения. Иначе говоря, тот, кто стяжал милосердие, встал на путь богопознания, так как Всевышний Сам благ и милостив» [Юров 2020: 19]. Читаем в Притчах: «Милосердием и правдою очищается грех...» (Притч 16: 6) – и понимаем, что чистота собственного сердца недостижима без милосердия к другим, включая, как учит Священное Писание, задачи помочь бедному и накормить голодного, одеть нагого и помочь больному и калеке, заботиться об узниках, оказывать гостеприимство бездомным и странникам и др. [Перцева 2009]. Активно-деятельностный взгляд на милосердие в секулярной проекции, по оценке современных специалистов

по социальной философии, – то главное, что делает милосердие одним из «смысложизненных ориентиров общественно значимой деятельности» [Карагодина 2016: 865] и, далее, одним из необходимых компонентов нашей «национальной идеи».

С лексико-семантической точки зрения, сущ. *милосердие* входит в группу существительных «Соответствие правилам морали, нравственным нормам» наряду с такими словами, входящими в ядерную часть русского лексикона, как *гуманность, правда, справедливость, целомудрие, честь*, по-словарному лаконично *милосердие* трактуется как «бескорыстное сострадание, обращенное к другим» [Русский семантический словарь 2003: 235], то есть через сущ. *сострадание* как словарный идентификатор. Думается, понимать смысл сущ. *сострадание* (буквальное прочтение внутренней формы – «*страдать* совместно с другим / другими») не менее, а скорее более трудно, чем собственно *милосердие*.

Анализ типичных секулярных употреблений сущ. *милосердие* в различных контекстах [Шалгина 2020] выявляет, что оно воспринимается, с одной стороны, как важное качество личности, ассоциирующееся с духовным здоровьем и нравственным достоинством, с другой стороны, как основа базовых «социальных скреп» общества, выявляемые контекстуальные лексико-семантические корреляты *милосердия* – *сила, оружие, здоровье*. Названные лексемы – это так называемые симиляры, то есть «синонимоподобные» слова, они могут оказаться полезными в деле конструирования своего собственного, индивидуально-специфического понимания милосердия как личностного и социального феномена. К примеры, акцентировка ассоциативной пары «милосердие – оружие» представляется разумной для военных, пара «милосердие – здоровье» представляет интерес для медиков. Однако семантическое ядро милосердия, связанное, прежде всего, с внутренним состоянием человека, остается при этом в тени.

В специально-научном прочтении, в контексте этики как науки, *милосердие* – «сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку; противоположность милосердия – равнодушие, жестокосердие, злонамеренность, враждебность, насилие» [Этика 2001: 262]. Дальнейшая разработка милосердия как категории этики ведет к различным этическим лингвокогнитивным моделям, в числе которых, как показывает специальное исследование Е.Г. Логуновой, «милосердие – прощение – помилование», «милосердие – сожаление – раскаяние» и др. [Логунова 2017]. Здесь богатый дальнейший материал для размышлений.

Семантическое ядро лексемы *милосердие* ассоциируется не только с социально значимыми проявлениями любви к ближнему, но и с личностной «красотой духа» [Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей], человеческий дух – с лексемой *сердце*, а сердце, в свою очередь, в духовно-нравственном и христианском смысле понимается как середина человеческого существа, что многократно разъясняли Отцы Церкви, как, например, святой Иоанн Кронштадтский (1829–1908): «Что особенно важно и составляет жизнь какого-либо существа, то Творец положил, сокрыл далеко в глубине, внутри того существа; это мы видим везде. Так и в человеке: душа находится в самой середине его существа, в сердце, почему и называется часто душа сердцем, а сердце – душой» [Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского 2007: 581–582]. Актуализовать семантическую связь лексем *милосердие* и *сердце* – это морфемно-словообразовательная задача.

Формальный «школьный» словообразовательный разбор существительного *милосердие* основывается на представлении, что производное *милосердие* – это образованный способом сложения в сочетании с суффиксацией (сложносуффиксальным способом) дериват, то есть лексема, образованная от синтаксически не зависящих друг от друга мотивирующих слов, а именно:

милый + *сердце* + (суфф.) -*иј*- > *мил-о-серд-иј-е*

Формально «всё правильно», однако корректное словообразовательное толкование, актуализующую внутреннюю форму слова *милосердие*, выстроить едва ли получится. Точно отражающий словообразовательный процесс результат может выглядеть как «милое сердце», что чрезвычайно далеко от реальной лексической семантики сущ. *милосердие*.

Если трактовать сущ. *милосердие* как универб, то есть как производную лексему, возникшую на базе целого грамматически правильного словосочетания, то результат будет иным, а именно – «милый сердцу», ср.:

милый сердцу + (суфф.) -*иј*- > *мил-о-серд-иј-е*

В случае мотивирующего словосочетания *милый сердцу* сущ. *сердце* в форме дательного беспредложного выступает как обусловленная синтаксема с субъектной семантикой. Г.А. Золотова в «Синтаксическом словаре» значение таких синтаксем характеризует следующим образом: «Субъект произвольного эмоционального отношения либо эмоционально-оценочного, выраженного глаголом, прилагательным... <...> *Им тишина по душе* <...> *Мечтателю и полуночнику* Москва милей всего на свете (Пастернак)...» [Золотова 1988: 119]. Опираясь на базовую семантику прилагательного *милый* – «располагающий к себе... <...> доставляющий удовольствие, наслаждение... <...> родной, дорогой...» [Новейший большой толковый словарь русского языка 2008: 543], получаем: *милосердие* = «дела, *милые* (близкие, дорогие) твоему *сердцу*, то есть твоей душе, всему тебе».

Таким образом, милосердие – важнейшая христианская добродетель, основа российской культуры и цивилизации и одновременно фундаментальная особенность менталитета россиян.

Созидательный труд

Созидательный труд – атрибутивное словосочетание, где значение целого, на первый взгляд, просто «складывается» из значений составляющих слов: скажем, если «просто» *труд* – это некая полезная деятельность, то характеристика *созидательный* подчеркивает, что в результате труда возникает нечто, чего раньше не было. В плане обыденного восприятия верно, однако заметим, что такое прочтение не обосновывает какую-либо особую значимость труда именно как традиционной ценности. «Просто» *труд* – это некая «целесообразная деятельность», которая может быть обусловлена всего лишь потребностью биологического выживания человека, а «просто» *созидательный* – значит нацеленный на создание чего-либо, что совсем не обязательно признается особо сложным, важным, ценным.

Ключ к входу в понимание словосочетания *созидательный труд* именно как именованная традиционной ценности можно усмотреть в эмоционально-стилистической окраске прилагательного *созидательный* – «высокое». В плане сочетаемости *созидать* ассоциируется, прежде всего, с духовными ценностями, хотя бы и воплощенными в таких вещных артефактах, как архитектурно ценные здания. Думается, не случайна показательная словарная иллюстрация в статье по глаголу *созидать*: «Созидать духовные ценности» [Ор. cit.: 1231].

Таким образом, соположение в пределах одного словосочетания лексем *труд* и *созидательный* создает синергетически радикальный эффект приращения смысла: труд как традиционная ценность – *созидателен* в силу своей одухотворенности. Дальнейшее разъяснение по необходимости нацелено на морфемно-словообразовательный ряд слов типа *дух, духовный, одухотворять, одухотворенный* и т. д. – как семантически смежных с соотносительными смыслами лексем *созидать, созидание, созидательный*.

Понимая труд как ментальное основание российской цивилизации и русского национального характера, исходим из того, что труд – главная «традиционная ценность». В практике специального исследования лингвокультурного концепта «Труд» (ядро поля – синонимичные лексемы *труд* и *работа*) целесообразно использовать, с одной стороны, разнообразные произведения художественной литературы – например, поэтические, воспевающие труд как личное счастье (в данном случае выбираем стихотворение В.Я. Брюсова «Работа»), с другой – государственные документы России, где труд – долг и заслуга.

Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924) своим творчеством и биографией связывает две эпохи: имперскую дооктябрьскую и советскую. С одной стороны, Брюсов – звезда Серебряного века русской поэзии, лидер символизма, теоретик и блестящий практик стиха, с другой стороны – активный «попутчик» советской власти, с 1919 года член партии большевиков, организатор литературного дела на постах руководителя Комитета по регистрации печати, председателя Президиума Всероссийского союза поэтов и др. [Молодяков 2020]. Стихотворение «Работа» [Брюсов 1961: 425–426] – своеобразный поэтический гимн труду – появилось в 1917 году, в промежутке между Февральской и Октябрьской революциями (впервые опубликовано в № 10 газеты «Свобода и жизнь» 18 сентября 1917 года [Op. cit.: 807]), и главная тема этого стихотворения, Труд – символический центр российской истории и русского духа.

В стихотворении Брюсова парадоксальным образом, но органично сочетаются символистская эстетика и пролетарский пафос созидательного труда:

Единое счастье – работа,
В полях, за станком, за столом, –
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета, –
Часы за упорным трудом!

Суть символизма в поэзии – «понимание искусства как выразителя во внешних формах невыражаемых иным способом “поэтических идей”, личностного понимания художником метафизической сущности предметов и явлений видимого мира, проникновение в глубины своего духовного мира, выражение в чувственном сверхчувственного» [Бычков 2019: 20], суть пролетарской поэзии как «лирики созидания» – воспевание творческой активности личности и масс, всех частных видов творчества – производственного, художественного, социального, научного и т. д. Поэтому, когда лирической герой Брюсова восклицает: «Единое счастье – работа...», – это о единстве двух миров: «счастье» как духовная вершина жизни является в земном, вещном мире как *поля, станки, письменные и рабочие столы, жаркий пот и упорный труд*, равно умственный и физический.

В стиховедческом отношении текст отличается характерной для Брюсова изысканностью.

Во-первых, трехстопный амфибрахий – сравнительно редкий размер, обычно в русской поэзии напевный и мелодично-медитативный, как, например, в пейзажной лирике А.А. Фета, у Брюсова предстает в энергично-маршевой огласовке, звучит как трудовой призыв, которым, собственно, стихотворение и завершается: «Всё счастье земли – за трудом!»

Во-вторых, пятистишие (одна из самых редких строф), несимметричная структура: три неустойчивые, «убегающие» строки с женскими клаузулами – и замыкающие строфы энергичные строки с мужскими клаузулами; а поскольку эти замыкающие строфы стихи в грамматическом отношении представляют собой энергически-краткие восклицательные предложения, то возникает семантический эффект императивности.

Побуждение к радости труда – вполне в духе основополагающего для большевиков «Манифеста Коммунистической партии» (К. Маркс, Ф. Энгельс, 1848), так как обращено ко всем трудящимся, без различия умственного и физического, промышленного «городского» и сельского «деревенского» труда:

Иди неуклонно за плугом,
Рассчитывай взмахи косы...

<...>

На фабрике в шуме стозвонном
Машин, и колес, и ремней...

<...>

Иль – согнут над белой страницей, –
Что сердце диктует, пиши;
Пусть небо зажжется денницей, –
Всю ночь выводи вереницей –
Заветные мысли души!

В брюсовском стихотворении органично сочетаются две линии трудового пафоса: с одной стороны, пафос трудового напряжения, усилия, воли, который в последующие, советские годы составил идейную основу так называемых «производственных романов» [Гаганова 2020: 165], и пафос радости достижения.

Соединение этих «двух пафосов»: усилия и достижения – четко соотносится с двумя основными лексическими значениями существительного *труд*, которое, с лексико-семантической точки зрения, по этим значениям входит в две группы существительных, а именно:

1) в группе «Социальная деятельность; жизнь общества; сферы социальной жизни» сущ. *труд* – в основном предельно общем значении с идентификатором ‘дело’, в ряду таких гиперонимических именовании, как *занятие, работа, служение*; по-словарному лаконично *труд* здесь трактуется как «целесообразная деятельность человека, направленная на создание (с помощью специальных орудий) материальных и духовных продуктов» [Русский семантический словарь 2003: 503];

2) в группе «Воля. Желание. Стремление» сущ. *труд* – в производном значении «Усилие, направленное к достижению чего-н. *Взять на себя труд сделать что-нибудь. <...> Без труда не выловишь и рыбку из пруда*» [Ор. cit.: 233].

Радость трудового усилия в сочетании со счастьем достижения созидательного результата – так можно кратко охарактеризовать семантическое ядро концепта «Труд» как одного из центральных лингвоментальных явлений в русской культуре и цивилизации. Такой труд – основа жизни и нравственности, духовного здоровья.

Заметим, специалисты по паремиологии отмечают, что для русских пословиц о труде, помимо акцентировки видов деятельности, достатка и других типичных для тематического поля «Труд» мотивов, существенное место занимает ценностный, морально-нравственный аспект: «В целом число паремий, в которых результатом усилий является богатство, очень мало. Это связано с тем, что гораздо более значимыми для русского человека являются моральная ценность труда и свидетельство проявления нравственности и доблести, необходимых для осознания себя человеком (*Без дела жить – только небо коптить; Сама себя баба бьет, коли нечисто жнет; Золото не золото, не быв под молотом*). Труд получает одобрение коллектива, именно труд придает смысл человеческому существованию (*Скучен день до вечера, коли делать нечего; Не то забота, что много работы, а то забота, как её нет*)» [Борщева 2011: 7]. Если суммировать, получаем простой и глубокий вывод, вполне «по Брюсову»: без труда ни радости, ни счастья нет.

Современная Российская Федерация, как гласит статья 7 нашей Конституции, – «социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [Конституция Российской Федерации: 5]. В страноведческом и лингвокультурном отношении «социальное государство» – такое, которое равно защищает представителей всех слоев общества, которые объединены прежде всего общим трудом, нацеленным на общие интересы. В этом едва ли не самая главная особенность нашего многонационального народа и нашего государства, основа русского / российского менталитета.

В современных условиях, когда различия менталитетов между народами и цивилизациями обретает все большую наглядность и значимость, специфика русского / российского менталитета отражается даже в официальных государственных документах. Конституция Российской Федерации, провозглашая: «Каждый имеет право на труд», – фиксирует также, что труд свободен, что он охраняется, что право на труд неотделимо от права на достойное вознаграждение, защиту от дискриминации и др. [ibid.]. Труд как ментальная особенность и официально защищаемая государством ценность – одновременно и необходимый компонент перечня ключевых «традиционных ценностей».

В документе «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», перечисляющем основные «традиционные ценности» россиян [Основы

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей], *труд* представлен не как одиночная лексема, а в виде знакового для нашей цивилизации словосочетания – *созидательный труд*.

Разумеется, труд – «традиционная ценность» любого народа / цивилизации (бездельники, лентяи просто не выживают), но вместе с тем у каждого народа – свои нюансы во внутреннем отношении к трудовой деятельности. Важно, что в цитированном официальном перечне духовно-нравственных ценностей нашей страны использована не одиночная лексема *труд*, а целое словосочетание – *созидательный труд*. Значения составляющих слов, складываясь в этом атрибутивном словосочетании в целое, дают не просто некую «арифметическую сумму» (вроде «*труд* = полезная деятельность + *созидательный* – налицо некий результат труда»), но ведут к ментально значимому синергетическому эффекту приращения смысла за счет стилистической окраски прил. *созидательный* как «высокого» и ассоциируемого с духовной деятельностью, ср. показательную иллюстрацию в словаре по глаголу *созидать*: «*Созидать духовные ценности*» [Новейший большой толковый словарь русского языка 2008: 1231]. Суммарное прочтение смысла словосочетания *созидательный труд* как именованная «традиционной ценности»: *труд* – *созидателен* в силу одухотворенности.

Процветание

Процветание – ключевое слово в составе фрагмента преамбулы нашей Конституции: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации <...> стремимся обеспечить благополучие и процветание России...». Существо задачи прочесть семантику существительного *процветание* – осмыслить, каким образом в рамках однословной свернутой концептуальной (когнитивной) метафоры процветания сопологаются две разные, но в существе своем сходные сферы жизни.

Существо решения этой задачи сводится к следующему. Как однословная метафора, существительное *процветание*, с одной стороны, отсылает к представлениям о *расцвете* в исходном буквальном смысле этого слова («о растении: дать цветки, приготовиться к появлению завязи будущих плодов»), который (смысл) мотивационно обусловлен корневым словом *цвет* > *цветок* / *цветки*. С другой стороны, эта метафора побуждает представить свою малую или большую социальную общность – в пределе целую страну, государство в стадии здоровой плодотворной жизни. Иными словами, в сущ. *процветание* налицо однословное сопоставление страны с садом, где всё возрастает сначала от бутона до *цветка*, а от *цветка* дальше: от *процветания* – к плодам.

Обыденные представления носителей языка о семантике существительного *процветание* сводятся к общеоценочным, условно так:

процветание – «это когда всё не просто хорошо, а очень хорошо». Такое прочтение содержания одной из ключевых лексем документа, текст которого не просто максимально серьезен, но и самым тщательным образом выверен, в том числе в лингвистическом отношении, трудно признать удовлетворительным – хотя бы потому, что в этом случае стоящие рядом в цитированном отрывке лексемы *благополучие* и *процветание* оказываются в положении практически полных синонимов, а следовательно, налицо плеоназм – речевая ошибка / недочет, существо которого – семантический повтор (дважды одно и то же сказано формально различными словами).

Однако если вдуматься, то никакого плеоназма в соположении «рядом», в тесном контексте лексем *благополучие* и *процветание* нет, – напротив, эти слова противопоставляются по семантическим параметрам «статика – динамика», а именно:

1) лексема *благополучие* отсылает к представлениям об уже наличном благе, в соответствии со своей внутренней морфемно-словообразовательной формой, как в паре *получать / получить благо* > *благополучие*, где *благополучие* – производное слово, образованное в результате сложения основ в сочетании с суффиксацией, то есть сложносуффиксальным способом, и сущ. *благополучие* семантически фиксирует **статичную** ситуацию *полученного*, наличного на данный момент *блага*;

2) лексема *процветание*, в отличие от существительного *благополучие*, отсылает к представлениям о **динамической** ситуации развития, которая метафорически осмысливается как «развитие растения / растений > развитие общества, страны, государства».

Поясним утверждение о динамичности ситуации, имплицитной семантикой лексемы *процветание*, подробнее.

Поскольку существительное *процветание* – синтаксический (транспозитивный) дериват, фактически тождественный по лексической семантике непосредственно мотивирующему глаголу *процветать*, то для выявления тех смыслов, которые связаны с внутренней морфемно-словообразовательной формой данного существительного, необходимо всмотреться в мотивирующий глагол.

Глагол *процветать* – несовершенного вида (имперфектив), образованный в результате имперфективации от глагола сов. вида *процвести*; словообразовательная цепочка имеет следующий вид: *цвет* ‘цветок’ > *цвести* > *процвести* > *процветать* > *процветание* [Тихонов 1985: 350]. Исходный глагол *цвести* в рамках данной цепочки фиксирует физическое состояние растения (далее в переносном смысле – состояние любого живого существа, организма) на одном из этапов его жизни, ср. академическое словарное толкование: *цвести* – «1. Быть в поре цветения (о цветах или цветущих деревьях, кустарниках, травах). <...> 2. Находиться в

поре физического расцвета, быть здоровым, красивым» [Новейший большой толковый словарь русского языка 2008: 1459]. Непосредственно образованный от *цвести* приставочный отглагольный глагол (девербатив) *процвести* фиксирует ситуацию вхождения в состояние цветения как состоявшуюся, завершённую – в соответствии с основным грамматическим значением совершенного вида (условные семантические компоненты – «цельность; завершённость»).

Более детально всмотреться в семантику совершенного вида – как в конкретизированную семантику способа протекания глагольного действия – в случае глагола *процвести* можно через приставку *про-*.

По формулировке академической Русской грамматики, в рамках префиксальных видовых пар с приставкой *про-* в случае непереходных глаголов состояния налицо семантическое соотношение «приходить – прийти в какое-либо состояние» [Русская грамматика 1980: 587]. По этому семантическому параметру видовая пара *цвести* > *процвести* аналогична парам типа *трезветь* – *протрезветь*, *мокнуть* – *промокнуть*; типовые толкования: *протрезветь* – прийти в состояние трезвости (= стать трезвым), *промокнуть* – прийти в состояние пропитанности влагой (= стать мокрым), *процвести* – прийти в состояние цветения (= стать цветущим).

Наряду с общим значением «прийти в какое-либо состояние», в паре *цвести* > *процвести* усматривается также и частное значение интенсивности, а именно – значение интенсивно-результативного способа действия; такие глаголы, в формулировке академической грамматики, «в большинстве случаев означают полноту и исчерпанность результата, тщательность, иногда – в сочетании со значением интенсивности и экспрессивности действия», а также со значением «удовлетворенности действием в сфере субъекта: *проспать* (разг.) <...> *продышаться* (разг.)» [Ор. cit.: 601–602].

Развивая эту мысль, заметим, что некий «социальный субъект», несомненно, будет удовлетворен, если его социум сначала *процветёт*, где налицо глагол сов. вида (= социум придет в состояние цветения, точнее, в состояние начала цветения), а затем будет *процветать*, где глагол несов. вида (= социум будет находиться в длящемся состоянии цветения / процветания).

Крепкая семья

Крепкая семья – это, как и в случае *созидательный труд*, в качестве именованной традиционной ценности – не отдельно взятое слово *семья*, а целое словосочетание с определением *крепкий*, которое в данном случае связано с обширным деревом значимых смыслов, в ряду которых, прежде всего, видимо, ассоциирование с *цельностью*, внутренним *единством*, откуда дальнейшие: *прочный*, *устойчивый* и др.

Может показаться странным, что сущ. *семья*, с одной стороны, стандартным средствам конструирования лексикографических толкований (например, логическому толкованию через род и видовое отличие) поддается плохо (толкования *семьи* через 'группа', 'совокупность' представляются избыточно общими), а с другой стороны, в нем не просматривается ясная (этимологическая) морфная структура.

Принимая, например, этимологию *семя / семена* (лат. *semen* 'семя > саженец, росток'), а далее, скажем, *сеять*, мы оказываемся в сфере скорее не научной, а народной этимологии (морфемно-словообразовательный аспект); трактуя *семью* как «совокупность родственников», получаем неопределенно широкую область (потенциальной) референции (лексико-семантический аспект).

Толковый словарь выходит из положения, конструируя дефиницию *семьи* как сжатую репрезентацию целого тематического поля – как «зримую картинку» узкого круга лиц, составляющих, как говорят социологи, во-первых, «нуклеарную» семью, во-вторых, иных лиц, связанных с «ядром» семьи близкородственными отношениями, ср.: «Группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других близких родственников, живущих вместе» [Новейший большой толковый словарь русского языка 2008: 1176]. Как видим, ядро тематического микрополя – «муж + жена + дети», периферия – «другие близкие родственники», ограничительное условие – «живут вместе» («совместное проживание»). Дальнейшая развёртка этого поля связана с лексемой *брак* – от глагола *братъ*, что фундирует вопросы типа *кто, кого, зачем, куда берёт* (см.: [Волков 2020]), и едва не самое главное – ассоциирование с *ответственностью* – *за кого-что*, поскольку вступить в *брак* – значит *братъ* на себя *ответственность*.

Заключение

Российская цивилизация строится на фундаментальных «традиционных ценностях», которые в других именованиих предстают как «менталитет», «национально-культурный код», «национальная идея» и др. Русская гуманитарная научная традиция, культура, художественная литература дают огромное разнообразие версий относительно содержания русского менталитета как фундамента российской цивилизации, но в размышлениях о существовании «русской идеи» не следует упускать из виду, что перечень «традиционных ценностей» фиксирован юридически, а именно – в Основном Законе и в других официальных государственных документах.

Фиксированный в официальных документах перечень традиционных ценностей, наиболее значимых именно для русской / российской цивилизации и ее культуры, целесообразно рассматривать как целостное лексико-семантическое поле, «вход» в которое возможен из любой точки –

от любой отдельной единицы поля (отдельной лексемы или целого словосочетания), с последующим установлением формально-семантических связей между всеми элементами поля.

Возможности объяснения-понимания фундаментальных традиционных ценностей коренятся в методах и приемах морфемного, лексико-семантического, синтаксического и иных видов лингвистического анализа. Исходная нацеленность на выявление и осознание значений и смыслов ключевых слов в итоге может привести / приводит к пониманию стоящих за отдельными словами концептуальных содержаний.

Подчеркнем: фундаментальные «традиционные ценности» коренятся в якобы «простых» словах вековой народной мудрости. Выявить и осознать смысл таких слов – важная задача как филологической науки, так и всей гуманитарной практики.

ГЛАВА 3

МЕТАФОРА В ЯЗЫКЕ, СОЗНАНИИ И ПЕРЕВОДЕ

Настоящее исследование представляет собой теоретический обзор и анализ научных публикаций, посвящённых метафоре – явлению, которое не теряет актуальности в силу своей самобытности и вездесущности на протяжении долгого времени, начиная с эпохи античности. В центре внимания обзора находятся труды по когнитивной семантике и переводу метафоры таких авторитетных специалистов, как Дж. Лакофф и М. Джонсон, А.П. Чудинов и П. Ньюмарк. В них метафора постигается не только как притягательный языковой феномен, но прежде всего как мыслительный процесс, базовая ментальная операция, а также как культурный объект и средство обогащения языков.

Ключевые слова: метафора, сознание, концептуальная (понятийная) система, концептуальная модель, домен, проекция, способ перевода, образ, смысл.

«Метафоры, которыми мы живём»

В настоящее время многие лингвисты соглашаются с Дж. Лакоффом и М. Джонсоном в том, что метафора – это не столько языковой стилистический приём, сколько фундаментальная характеристика концептуальной (понятийной) системы человеческой памяти, благодаря которой мы не только общаемся, но и мыслим и действуем в этом мире; при этом язык – важный источник информации о том, что из себя представляет эта система. Сущность метафоры заключается в осознании одного объекта через обращение к номинации другого объекта: ARGUMENT IS WAR.

Иными словами, метафора – это не только имя, не только обозначение, это способ мышления, способ понимания, и этот способ не фантазийный, не поэтический, он буквальный. Слова только отражают реальность мыслительных процессов, и эта реальность – метафорическая в своей основе [Lakoff, Johnson 2008: 3–6]. То, почему мы так легко и повсеместно применяем метафору в речи (хотя не только в ней), объясняется с помощью моделирования концептуальной системы: если представить её в виде сети из концептуальных узлов для разных концептов/понятий, то часть этой сети будет общей для соединённых таким образом понятий [Op. cit.: 7–13]. Связанность понятий позволяет использовать их метафорически – называть одни понятия именами, закреплёнными в культурной памяти за другими понятиями, находя общее у разных понятий, причём с различными целями: чтобы явить миру нечто знакомое с неожиданной, нетривиальной стороны, или для более меткого и выразительного описания, или чтобы лучше понять/объяснить то, что без этого механизма индивид понять/объяснить не в состоянии.

Лакофф и Джонсон выделяют структурную, ориентационную и онтологическую метафору. Структурная метафора встречается там, где одно понятие метафоризируется через обозначение другого понятия (TIME IS MONEY / AN ARGUMENT IS A JOURNEY). Но есть также ориентационная метафора, когда метафорически связываются целые системы понятий, как, например, *Time is space*. Поскольку в большинстве случаев это касается положения тела в пространстве, что в свою очередь диктуется архитектурной собственностью тела человека (*вверху – внизу, впереди – позади, близко – далеко, внутри – снаружи, в центре – на периферии* и т.п.), предложено называть их ориентационными: *I'm feeling up today / He fell asleep / I wouldn't stoop to that* [Op. cit.: 14–19]. Исследователи особо подчёркивают, что любая метафора может быть адекватно объяснена и интерпретирована только с опорой на эмпирический опыт индивида [Op. cit.: 19]. При этом, несмотря на всеобщность биологической природы и физического опыта перемещения в пространстве, нельзя сбрасывать со счетов культурный опыт, который может различаться от социума к социуму [Op. cit.: 11–19; 25–32] (о концептуализации времени в разных лингвокультурах, когда, например, концепт *прошлое* может ассоциироваться с концептами *позади, впереди* и *выше*, см. [Чугунова 2009; 2012]).

Онтологическая метафора – это также отражение эмпирического опыта человека, результат манипуляции конкретными объектами предметного мира, отдельными от окружающей действительности, включая собственное тело, поверхность которых ограничена в пространстве, и даже если отдельность, границы или конкретика в каких-то случаях не очевидны, человеческое сознание всё равно им это приписывает, как если бы это были конкретные предметы или субстанции: *Inflation makes me sick / The honor of our country is at stake in this war / I can't keep up with the pace of modern life*. Даже действия и состояния рассматриваются нами через призму метафоры, как, например, тело, которое выступает в качестве некоего сосуда: *In washing the window, I splashed water all over the floor / I put a lot of energy into washing the windows / He's in love / We're out of trouble now* [Lakoff & Johnson 2008: 58]. Сюда же относится персонификация (олицетворение) – отождествление неживых или абстрактных объектов или явлений с живыми сущностями, прежде всего с человеком, его чертами, его поведением: *Inflation has given birth to a money-minded generation / Life has cheated me* [Op. cit.: 33–34].

Важно, однако, отметить, что авторы не стремятся обозначить физический опыт – опыт обращения с собственным телом в качестве первичного опыта, предшествующего всем другим – эмоциональному, когнитивному, культурному и т.д. Любой опыт может быть таким же базовым, как физический опыт. Их задача состоит в том, чтобы показать, что в большинстве случаев человек концептуализирует, т.е. осмысливает,

превращает в знание нечто нефизическое, опираясь на номинации понятий, ставших результатом опыта физического: ср.: *Harry is in the kitchen* (пространственный, физический опыт) / *Harry is in the Elks* (культурный опыт членства в клубе) / *Harry is in love* (эмоциональный опыт). В последних двух предложениях метафорическое употребление предлога *in* служит таким примером [Op. cit.: 56–60].

Таким образом, авторы разграничивают концепты/понятия, возникающие непосредственно из физического опыта (*вверху – внизу, впереди – позади, внутри – снаружи, объект, субстанция* и т.д.), и концепты/понятия, возникающие в результате действия метафорического переноса (СОСТОЯНИЕ – это СОСУД, ЭМОЦИЯ – это СОСУД и т.д.). Однако это не означает, что все понятия строго относятся к одному или к другому классу: даже базовые концепты, которые с точки зрения традиционных лингвистических воззрений, представляют собой далее неделимые семантические примитивы, при более внимательном рассмотрении обнаруживают определённую структуру, дальнейшую признаковую делимость [Op. cit.: 69–72]. Интегративная сложность концептуальной системы усиливается и тем, что зачастую один и тот же концепт включается в более чем одну метафорическую цепочку, а с другой стороны, при описании единичного концепта мы используем другие понятия, которые сами понимаются метафорически [Op. cit.: 97].

Если говорить о структуре концептов, систематически подвергающихся метафоризации, то в ней в этом смысле не все элементы равнозначны, т.е. не все из них используются метафорически с одинаковой степенью частотности и отсюда – с одинаковой степенью мотивированности. Так, при сравнении теорий со зданиями (THEORIES ARE BUILDINGS) из понятия *здание*, как правило, используется только часть семантических компонентов (назовём их семами) – *used parts*, что обнаруживается в воспринимающихся в качестве буквальных, хотя по правде не являющихся таковыми, выражениях: *theoretical foundations, to construct a theory, theoretical framework* (случаи так называемой «стёртой», «мёртвой», конвенциональной метафоры). Что касается сем *крыша, пол, стены, окна, двери, лестницы, интерьер, декорации*, то если они и используются, то в единичных примерах (*unused parts*), отчего сохраняется их образная мотивированность, метафора остаётся наиболее выпуклой, яркой, очевидной: *His theory has thousands of little rooms and long, winding corridors / He prefers massive Gothic theories covered with gargoyles*. Однако все эти и множество подобных примеров представляют собой одну и ту же метафору: THEORIES ARE BUILDINGS [Op. cit.: 52–53].

Высокообразные примеры дифференцируются на подвиды: а) результат расширения «используемых» компонентов (*These facts are the bricks and mortar of my theory*); б) результат использования «неиспользуемых», но соотносящихся с общей метафорой компонентов:

His theory has thousands of little rooms and long, winding corridors; в) соотнесение целевого понятия с совершенно другим понятием, т.е. рождение новой метафоры: THEORIES ARE PEOPLE: *Classical theories are patriarchs who father many children, most of whom fight incessantly* [Ibid.].

Рассуждая о новых метафорах, которые в основном являются структурными метафорами, авторы отмечают, что такие метафоры конструируют реальность по-новому. Становясь частью нашей понятийной системы, новая метафора перестраивает эту систему, заставляет по-новому оценивать собственный опыт, реальность вокруг себя. В качестве примера приводится распространение в современном мире западной культуры и западных метафор – TIME IS MONEY. Таким образом, метафора превращается в средство структурирования понятийной системы и реальности, в которой мы живём; не слова меняют эту реальность, а изменения в концептуальной системе воздействуют на то, как мы воспринимаем, понимаем мир вокруг себя и взаимодействуем в нём [Op. cit.: 145–146].

Концептуальная интеграция в метафорических моделях с позиции разных подходов

С точки зрения авторов теории концептуальной метафоры и их сторонников, механизм метафорической связи двух понятий на уровне понятийной системы моделируется в виде проекции (projection, mapping) из одной концептуальной области (домена), выступающей в качестве источника, в другую концептуальную область (домен), выступающую в качестве цели, или мишени. При этом оба домена не связаны прагматической функцией и относятся к разным доменам более высокого уровня [Barcelona 2002: 272]; [Lakoff 1993: 245]; [Lakoff, Turner 1989: 103–104]. Иными словами, семантические признаки домена-источника встраиваются в структуру целевого домена на систематической основе, причём, как правило, заимствуются признаки более конкретного домена, т.е. домена – продукта эмпирического опыта индивида, благодаря чему лишённые осязаемости абстракции становятся более или менее понятными. Таким образом, механизм метафорической проекции основан на абстрагировании, а его вектор характеризуется асимметричностью [Stamenković, Jačević 2015: 179].

Так, большая часть исследователей склонна связывать понятие пространства с непосредственным физическим опытом восприятия и перемещения, отказывая в этом понятию времени, поэтому в конвенциональной ориентационной метафоре TIME IS SPACE (*Their future is ahead of them / Тревоги остались позади*) конкретное пространство выступает в качестве домена-источника, а абстрактное время – в качестве домена-мишени: «чтобы понять темпоральные отношения, нужно сначала их понять как пространственные отношения» [Чугунова

2009: 173]. В качестве небольшого отступления обратим внимание, что в монографиях 2009 и 2012 гг., с опорой на значительный пласт научных источников, нами защищается положение, что «не следует говорить о пространстве как первопричине времени. Концепты пространства возникают в концептуальной системе не раньше концептов времени. И те и другие – это стороны одной медали – корпоральной организации человека» [Чугунова 2012: 7]. И следующее: «Вследствие размытости концептуальных структур в индивидуальном сознании бывает трудно определить, что два связывающихся проекцией домена являются изначально независимыми структурами и не могут входить в более общий домен концептуальной системы или включать общие подструктуры. У темпоральных метафор <...> таким доменом может быть домен тела, а точнее, движущегося тела, если учесть фундаментально темпоральную природу восприятия, что темпоральный опыт и внешний сенсомоторный опыт – это взаимообусловленные процессы, а также то, что сенсорно-темпоральный механизм у человека есть следствие специфики его телесной двигательной активности» [Чугунова 2009: 135]; [Чугунова 2012: 224].

Обратимся к другим примерам. Чтобы понять смысл метафорического высказывания *Inflation has gone up*, необходимы две концептуальные проекции, результатом которых становятся две конвенциональные метафоры: INFLATION IS A (physical) SUBSTANCE (онтологическая метафора) и MORE IS UP (ориентационная метафора) [Lakoff, Johnson 2008: 170–171]. В данном высказывании для целевого абстрактного понятия инфляции источником становятся, с одной стороны, признаки понятия субстанции, а с другой стороны, метафорическая цепочка БОЛЬШЕ – это ВВЕРХ, в которой оба понятия являются продуктами переработки физического опыта восприятия.

В другом примере *Life has cheated me* реализуется персонифицированная онтологическая метафора LIFE IS AN OBJECT (person), в которой абстрактный домен ЖИЗНЬ является целью, а доменом-источником выступает физически конкретный ОБЪЕКТ, а именно живое лицо, человек, причём с негативной стороны. Как верно замечает А. П. Чудинов (используя вместо термина «домен» термин «сфера», а вместо термина «мишень» термин «магнит», хотя суть от этого не меняется), «при таком моделировании в сфере-магните обычно сохраняется не только структура исходной области, но и эмотивный потенциал, характерный для концептов сферы-источника, что создает широкие возможности воздействия на эмоционально-волевую сферу адресата в процессе коммуникативной деятельности» [Чудинов 2003: 70].

Существуют и альтернативные теории, описывающие механизм концептуальной интеграции в метафорических цепочках (более подробно см. § 3.3.4 в [Чугунова 2009; 2012]). Так, с позиции теории лексических

концептов и когнитивных моделей (Lexical Concepts and Cognitive Models Theory – LCCM-theory [Evans 2005; 2006; 2007]; [Evans, Zinken [http](#)]), концептуальные связи могут устанавливаться как между доменами, так и внутри доменов. Вот как с позиции LCCM анализируется процесс концептуальной интеграции в примере *It happened a long time ago* (букв. *долгое/длинное время назад*). Имя прилагательное *long*, как и другие языковые формы, связано с несколькими значениями. Кроме лексического концепта «протяженный в горизонтальном пространстве» словоформа обеспечивает доступ в другой лексический концепт – «протяженный во времени» (*a long kiss* ‘долгий поцелуй’, *a long book* ‘длинная книга’). Если с позиции теории концептуальной метафоры доступ в данный концепт обеспечивается реактивацией метафорической проекции, т.е. необходимостью прохождения маршрута из домена ПРОСТРАНСТВО в домен ВРЕМЯ, то с точки зрения LCCM, выбор лексического концепта ДЛИТЕЛЬНОСТЬ происходит путём селекции концептов, связанных со словоформой *long* под давлением языкового контекста и фоновых знаний [Evans 2007: 19–20, 28–29]; [Evans, Zinken [http](#): 22–24].

Недостатком теории концептуальной метафоры называется стремление проникнуть в концептуальную (понятийную) организацию у человека через тело, а именно корпоральное мышление, а не собственно язык, организацию языка. К тому же теория концептуальной метафоры игнорирует динамические аспекты конструирования значения как креативного акта, где сходятся ситуативность словоупотребления, коммуникация и контекст. Значение – это процесс, функция высказывания, а не свойство слова. Слова как таковые значениями не обладают. LCCM подходит к метафорическому языку не как к следствию особых концептуальных структур, не совпадающих для фактов прямой номинации, но, скорее, как к выходу на более общие процессы конструирования значения, имеющие место и при неметафорическом употреблении языка, что также согласуется с позицией теории релевантности (Relevance Theory [Carston [URL](#)]). Однако если LCCM акцентирует гибкость языковых форм, теория релевантности исходит из свободного использования концептов (*loose use*). Активизируются те концептуальные признаки, которые необходимы для конструирования значения высказывания. Даже при очевидной метафоре понимание не требует реактивации другого домена: в предложении *My son is a baby* метафорический элемент *baby* непосредственно реактивирует неметафорический признак «требующий внимания» или «незрелый в поведении» [Evans 2007: 33–34]; [Evans, Zinken [URL](#)].

В рамках LCCM высказывание приобретает значение благодаря процессу фузии – интеграции выбранных в результате селекции концептов и их дальнейшей интерпретации. Различие между фактами прямой номинации и метафорическим языком состоит в том, что в последнем

случае имеет место выход на вторичные когнитивные модели посредством первичных, базовых когнитивных моделей, которые непосредственно связаны с тем или иным лексическим концептом, тогда как прямая номинация активизирует только базовые концептуальные структуры. В примере *The evening seemed to whiz by* (букв. *Казалось, вечер пронесся со свистом*) основу лексического концепта лексема *evening* составляет реальный феноменологический опыт дления, которое может субъективно ощущаться как ускоренное или замедленное. Результатом проекции со стороны концепта, стоящего за лексемой *whiz* 'проноситься со свистом', является представление ускоренной длительности, сжатого временного интервала. Глагол *whiz (by)*, который больше сочетается с наименованиями артефактов, способных быстро перемещаться (*The plane whizzed by*) и издавать соответствующий звук, употреблён здесь метафорически. Отсюда возникает столкновение между первичными когнитивными моделями, на которые непосредственно выводит лексема *evening*, и когнитивными моделями, на которые непосредственно выводит лексема *whiz*. Кроме реактивации первичных когнитивных моделей, в подсознании также резонируют вторичные когнитивные модели, содержание которых интегрируется в первичную концептуальную структуру. Так, может активироваться знание, что движущиеся с огромной скоростью объекты плохо наблюдаемы, так как время наблюдения за ними резко уменьшается и т.д. Всё это поддерживает интеграцию указанных концептов в единую когнитивную модель [Evans, Zinken URL: 28, 39–40].

Разрабатывающие теорию концептуального смешения (Blending Theory) Ж. Фоконье и М. Тёрнер [Fauconnier, Turner 2008: 54] полагают, что концептуальные продукты никогда не являются результатом одной проекции. За тем или иным метафорическим выражением, за той или иной проекцией на поверхностном уровне, как, например, TIME IS SPACE, формируется целая сеть, интегрирующая множество ментальных пространств и проекций. Интеграционные сети никогда не создаются «на лету», но в то же время они не представляют собой полностью стабильных, предварительно существующих конвенциональных структур. Формирующиеся в сознании интеграционные сети как база для понимания и продуцирования того или иного выражения – это всегда сгусток проекций и компрессий в виде культурных «калек» и индивидуальных «находок». Таким образом, теория концептуального смешения имеет много общего с теорией концептуальной метафоры, тогда как трактовка концептуальной интеграции для фактов вторичной номинации в русле LCCM оказывается привязанной к поверхностному уровню языка и потому не способна объяснить глубинные явления и процессы [Op. cit.: 53–54, 56].

Теория концептуального смешения и теория концептуальной метафоры рассматривают метафору как концептуальный феномен; обе включают систематические проекции языковых, образных и выводных

структур между концептуальными доменами; обе предполагают ограничения на эти проекции. В то же время между ними существуют различия:

- теория концептуальной метафоры допускает парные проекции, теория концептуального смешения – множественные;

- теория концептуальной метафоры определяет метафору как однонаправленный перенос концептуальной структуры, теория концептуального смешения допускает двунаправленные проекции;

- в центре внимания теории концептуальной метафоры – устоявшиеся, конвенциональные, закрепленные в культуре метафоры; теория концептуального смешения больше фокусируется на относительно «свежих», индивидуальных проекциях;

- теория концептуальной метафоры в качестве базовой единицы концептуальной организации человеческого сознания оперирует понятием концептуального домена, теория концептуального смешения – понятием ментального пространства (mental space [Fauconnier 1994]), рассматриваемого как нецелостная, неустойчивая репрезентация, которая формируется в сознании индивида в ходе размышлений о своих восприятиях и представлениях;

- в теории концептуальной метафоры во взаимодействие вступают целостные домены, в теории концептуального смешения взаимодействуют не целостные домены, а только их элементы, подструктуры, образуя «летучие» соединения;

- теория концептуальной метафоры анализирует проекции между двумя концептуальными структурами – доменами, теория концептуального смешения обычно строит модель из четырех пространств, куда включаются а) источник, б) мишень, в) общая для а) и б) концептуальная структура (genetic space), г) пространство смешения (blend space); оба – источник и мишень – проецируют свои элементы в концептуальный «миксер», а не источник – в мишень, как это описывает теория концептуальной метафоры. В результате смешения могут формироваться неожиданные, эмерджентные структуры; пространство-миксер – это своего рода «родильное отделение» для инновационных проекций и к тому же эксплицитный способ, объясняющий их появление [Grady et al. 1999: 101–104].

Вместе с этим процесс концептуальной интеграции у человека, приводящий к формированию новых концептуальных репрезентаций, обуславливает не только метафорические связи, но и все другие ментальные операции – категоризацию, метонимию, аналогию, оппозицию и другие. В процесс вовлекается не один тип интеграции, а несколько, и даже в случае с конвенциональной метафорой TIME IS SPACE, свойственной практически всем языкам, связи устанавливаются не только между доменами времени и пространства, как это принято считать.

В примере *Three hours went by, and then he had dinner* имеет место проецирование в концептуальное пространство времени двух смыслов: единицы измерения («час») и одушевленного объекта («идущий час»), которые не могут принадлежать одному домену. Понимание единицы измерения времени как одушевленного объекта – это эмерджентный продукт, порождаемый в пространстве смещения. В примере *Minutes are quick but hours are slow* время понимается как единица измерения, с одной стороны, и как сущность, обладающая скоростью, с другой, причем эта скорость может быть разной для её же составных частей. Если бы здесь имела место однонаправленная метафорическая связь в терминах теории концептуальной метафоры, то и минуты, и часы, и годы, и века должны были бы двигаться с одинаковой скоростью, ведь скорость уже предполагает время, поэтому парадокс разрешается отвлечением скорости от движения, оставляя движение как таковое. В примере *Those three hours went by slowly for me, but the same three hours went by quickly for him* картина ещё более парадоксальная: один и тот же объект движется одновременно с разной скоростью. Всё это возможно благодаря «концептуальному миксеру», в который попадают продукты субъективного опыта течения времени. Таким образом, понятие ментального пространства экстраполируется не только на структуры, получающие непосредственное языковое выражение, но и на доязыковые структуры [Fausconnier, Turner 2008: 56–64] (см. также [Coulson, Oakley 2000: 176–187]).

Этапы метафорического моделирования и проблема их классификации

По мнению А.П. Чудинова [Чудинов 2003], при моделировании метафорических цепочек с опорой на теорию концептуальной метафоры необходимо соблюдать определённый алгоритм действий с описанием:

- 1) исходной понятийной области (сферы-источника / сферы-донора) или её отдельных участков;
- 2) новой понятийной области (сферы-магнита / сферы-мишени) или её отдельных участков;
- 3) составляющих каждую сферу фреймов в качестве фрагментов наивной картины мира: «Нередко система фреймов предстает как своего рода когнитивный динамический сценарий, отражающий представления о типичной последовательности развёртывания модели» [Op. cit.: 71];
- 4) составляющих каждый фрейм типовых слотов – семантических элементов, конкретизирующих фрейм в разных аспектах;
- 5) составляющих слоты концептов с использованием для удобства слов естественного языка, несмотря на то, что слова – это единицы языка, а концепты – единицы ментального лексикона;
- 6) компонента, связывающего первичные (в сфере-источнике) и метафорические (в сфере-магните) смыслы, т.е. определить, «какие

признаки позволяют сближать указанные сферы, <...>, почему понятийная структура сферы-источника оказывается подходящей для обозначения элементов в сфере магните» [Ор. cit.: 72];

7) дискурсивной стороны модели: ведущих эмотивных характеристик, прагматического потенциала модели, событийного наполнения ситуации коммуникации, связей с другими ситуациями, интенций, отношений, убеждений субъектов коммуникации и т.д.;

8) продуктивности модели – способности к развёртыванию в тексте и дискурсе; при необходимости сопоставлять частотность описываемых моделей с другими моделями с учётом стилистических, жанровых и других характеристик текста.

Что касается проблемы классифицирования метафорических моделей, то нельзя не согласиться с А. П. Чудиновым и теми, кто полагает, что, несмотря на множество сложностей при определении границ соответствующих метафорическим моделям понятийных областей, несмотря на многообразие возможных путей их классификации, несмотря на сомнительность перспективы единой и общепринятой классификации и инвентаризации в будущем, «такая работа нужна, поскольку она позволит выделить хотя бы наиболее частотные и продуктивные модели, а также даст богатый материал для постижения общих закономерностей метафорического моделирования действительности» [Ор. cit.: 74].

В качестве оснований для классификации предлагаются как сфера-источник, так и сфера-мишень, или их отдельные фреймы. Вынуждены обратить внимание, однако, на тот факт, что в цитируемой работе при разборе конкретных метафорических моделей эти сферы оказываются перевёрнутыми «с ног на голову»: сфера-источник преподносится как сфера-магнит, или сфера-мишень, и наоборот [Ор. cit.: 74–76]. Дело в том, что монография А. П. Чудинова посвящена политической метафоре, т.е. метафоре в политическом дискурсе, поэтому в ней разбираются соответствующие метафорические цепочки: ПОЛИТИКА – это ЗДАНИЕ (дом), ПОЛИТИКА – это МЕХАНИЗМ, ПОЛИТИКА – это ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ, ПОЛИТИКА – это РАСТЕНИЕ и другие. Отсюда, необходимо ещё раз уточнить, что с позиции теории концептуальной метафоры, а именно на неё опирается автор монографии, источником для абстрактного понятия (в данном случае это ПОЛИТИКА) становится концептуальный домен – продукт переработки эмпирического, осязаемого опыта индивида, его элементы (концепты) образуются непосредственно из этого опыта, т.е. не метафорически. Абстрактное понятие – это всегда домен-цель (мишень). Метафорическая проекция из домена в домен представляет собой перенос некоторых признаков (концептов, сем) из «конкретного» домена (например, ЗДАНИЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ, РАСТЕНИЕ) в «абстрактный» домен (ПОЛИТИКА), причём этот перенос всегда односторонний.

Всего в цитируемой работе предлагаются четыре разряда моделей политической метафоры с дальнейшей дифференциацией внутри этих разрядов: антропоморфная метафора (сравнение с человеком и его качествами), природоморфная метафора (сравнение с природой и ее объектами), социоморфная метафора (сравнение с обществом и общественными институтами), артефактная метафора (сравнение с артефактами). Несмотря на то, что приводимая здесь классификация производилась на языковых фактах из политического дискурса, выдвигаем предположение, что она может быть применена по отношению к языковым фактам метафоры в других типах дискурса, в том числе в поэтических текстах [Op. cit.: 77–78].

К наиболее важным свойствам метафорических моделей относятся:

- иерархическое устройство (например, понятийная сфера ЗДАНИЕ может включаться в более широкую модель с концептуальной сферой НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ, но с другой стороны, эта же понятийная сфера ЗДАНИЕ в свою очередь может включать в себя подмодель с понятийной сферой КУХНЯ);

- взаимопересечение (диффузность), когда один и тот же концепт (образ, смысл) участвует в разных метафорических моделях;

- полевая организация: в метафорических моделях возможно выделять центр (метафорические словоупотребления, выражающие типичные свойства модели) и периферию: «метафоры, связанные с переосмыслением функций стен, окон, дверей, крыши, несомненно, относятся к наиболее типичным проявлениям модели, к центральной зоне относится и метафорическое переосмысление образов спальни, кабинета, коридора или кухни» [Op. cit.: 81–83]. В связи с этим свойством вспоминается фрагмент из “Metaphors We Live By”, где говорится о часто и редко используемых элементах метафоры (used and unused parts) [Lakoff, Johnson 2008: 52–53].

Перевод метафоры в концепции П. Ньюмарка

П. Ньюмарк понимает метафору очень широко, поскольку практически любое слово в иноязычном тексте на поверку может оказаться метафорой [Newmark 1988: 106]. Итак, метафора – это любое иносказательное выражение (*figurative expression*); слово в переносном смысле, ставшем уже привычным (*native* в значении ‘происходить’); олицетворение абстракции (*modesty forbids me*); описание чего-то одного в терминах чего-то другого. Все полисемичные слова (*a heavy heart*) и большинство английских фразовых глаголов содержат в себе метафорический потенциал (*put off* в значении ‘оттолкнуть, смутить’). Метафоры могут быть единичными (*single*), т.е. состоящими из одного слова, или развёрнутыми (*extended*), т.е. представлять собой

словосочетание, идиому, предложению, поговорку или поговорку, аллегорию и даже целый текст [Op. cit.: 104].

Назначение метафоры двойственное: в своей референциональной функции метафора описывает ментальный процесс или состояние, идею, человека, объект, качество или действие более понятно и ясно, чем, если то же самое выразить средствами буквального языка (*literal or physical language*); в своей прагматической функции, которая всегда сопровождает референциональную, цель метафоры состоит в воздействии на наши чувства, в том, чтобы заинтересовать, вызвать эмоцию, очаровать, удивить. Таким образом, первая функция – познавательная, когнитивная, вторая – эстетическая. В удачной метафоре обе функции сливаются как форма и содержание. Референциональная функция, как правило, доминирует в учебных текстах, эстетическая функция выходит на первый план в рекламе, популярной журналистике, искусстве, песенном творчестве. В обеих своих функциях метафора вовлекает иллюзию, она похожа на ложь, притворство, обман, порой на желание скрыть настоящее намерение [Ibid.].

Метафора демонстрирует сходство, общую семантическую область между двумя похожими в той или иной степени сущностями – образом и объектом, которую П. Ньюмарк называет смыслом (*sense*), что в некоторой степени заставляет вспомнить теорию концептуального смешения и концептуальный «миксер» – ментальное пространство смешения (*blend space*), куда домен-источник и домен-мишень проецируют свои семантические элементы. Одной из проблем при понимании и переводе оригинальной и в меньшей степени готовой метафоры (*stock metaphor*) становится вопрос об объёме этой общей для двух сущностей области смысла, затем определение его коннотации – положительной или отрицательной, и наконец, главное – коннотативный или денотативный аспект значения. Так, в предложении об американском политическом деятеле Г. Киссинджере – *A TV portrait featuring a Metternich of today*, в котором этот политик второй половины XX века сравнивается с политиком первой половины XIX века К. Меттернихом, – неясно, к чему относится имя собственное *Metternich*: а) карьере Меттерниха в качестве европейского государственного деятеля; б) его коварству (с отрицательной коннотацией); в) его проницательности (с положительной коннотацией); г) его аристократизму (хотя вряд ли). Отсюда, переводчик должен для себя решить: переводить ли этот фрагмент дословно (*телевизионный портрет, изображающий современного Меттерниха*), положившись на образованность читателя, или перефразировать, опустив метафору, с пояснением (*государственный деятель, обладающий хитростью Меттерниха*), или перефразировать, опустив метафору и опустив *Metternich* для читателей, которые ничего не знают о Меттернихе (*хитрый государственный деятель мирового уровня*) [Op. cit.: 104–105].

При обсуждении метафоры П. Ньюмарк применяет следующую терминологию:

- образ, или «картинка», иницируемая в сознании метафорой, которая может быть культурно-универсальной (*a glassy stare*), культурно-специфичной (*a beery face*) и индивидуальной (*a papery cheek*), причём самыми сложными для перевода являются культурно-специфичные метафоры;

- объект – то, что описывается или уточняется с помощью метафоры;

- смысл – сходство или общее семантическое пространство, в котором пересекаются образ и объект (обычно смыслов больше одного, особенно когда встречаешься с оригинальной метафорой);

- метафора – иносказательное слово или даже целый текст с иносказательным содержанием;

- метоним – однословный образ, заменяющий объект, который может состоять или из метафоры-клише (*crown* вместо *monarchy*), или из недавно стандартизированной (*juggernaut*) или оригинальной метафоры (*sink* для большого грузовика), или быть синекдохой, когда часть используется вместо целого или наоборот; многие технические термины являются метонимами;

- символ – вид культурно-специфичного метонима, когда материальный объект обозначает идею, абстракцию (*grapes* вместо *fertility* или *sacrifice*) [Op. cit.: 105–106].

Из всего этого можно заключить, что П. Ньюмарк понимает термин «метафора» только как языковое явление, не более того. Вместе с тем, метафора иницирует построение в сознании образа, который может быть понятен или не понятен читателю, в зависимости от его культурной компетенции. Если вновь обратиться к примеру о Киссинджере, то объектом метафоры в рамках данной терминологии будет сам американский политик, метафорой – выражение *a Metternich of today*, «картинка» в голове будет у каждого реципиента своя, в зависимости от того, видел ли, помнит ли он, как выглядел Меттерних (портретов в интернете предостаточно), а если не видел и не помнит и не знает, то всё равно кого-нибудь представит, а что касается смыслов, то их действительно может быть несколько, по крайней мере от а) до г), хотя это совсем не означает, что все смыслы или даже один из представленных в списке реализуются в одной голове в одно и то же время – всё зависит от так называемого «внутреннего контекста», понимаемого как сложная система связей и отношений по линиям перцептивного, когнитивного, аффективного, вербального и невербального, осознаваемого и неосознаваемого опыта конкретного индивида, вне которой слово как единица индивидуального лексикона функционировать не может [Залевская 2005].

Типология метафоры включает шесть типов: мёртвая (dead), клише (cliche), готовая (stock, standard), адаптированная (adapted), свежая (recent), оригинальная (original) [Newmark 1988: 106]. Правда, в другой, более поздней монографии [Newmark 1998: 144] мы находим пять типов, без адаптированной метафоры, а на одной из страниц «свежая» (recent) метафора называется метонимом [Op. cit.: 184]. При этом обращает на себя внимание то, что метонимия в данной концепции включается в метафору, т.е. метафора оказывается более общей категорией, тогда как есть и противоположный взгляд, согласно которому, практически все метафоры на более глубинном уровне концептуальной системы оказываются мотивированными концептуальной метонимией [Barselona 2002: 214–216]. В качестве небольшого отступления отметим, что концептуальная метонимия определяется как когнитивный механизм, посредством которого один основанный на опыте домен частично выражается в терминах другого основанного на опыте домена, причём оба входят в общий домен. При этом подчёркивается, что ментальные механизмы метафоры и метонимии не должны сводиться к языковым выражениям, они вообще могут не получать языкового выражения, а манифестироваться через жестикуляцию и другие невербальные средства смысловыражения или скрываться за теми или иными актами поведения [Op. cit.].

Мёртвая метафора не вызывает в сознании метафорического образа (или образа сущности, послужившей источником метафоры), как это происходит с номинациями времени, пространства, частей человеческого тела, основных действий человека и другими (*space, field, head, mouth, foot, bottom, arm, leg, bridge, chain, rise, drop*). Они часто используются в научных и научно-технических текстах, как и общеупотребительные слова, которые могут приобретать узкий технический смысл в определённых контекстах (*dog, element*). Обычно такие метафоры нетрудно переводить, но они часто не поддаются дословному переводу, поэтому по отношению к ним шутка о том, что при переводе нужно особенно перепроверять в словарях слова, которые хорошо знаешь, оказывается полушуткой. В каждом языке есть такие слова, и они бывают очень коварны, а что касается английского языка, то его мёртвые метафоры способны оживать и превращаться в метонимы путём конверсии, становясь фразовыми глаголами (*drop out, weigh up*) [Newmark 1988: 106–107].

Метафоры-клише определяются автором как метафоры, которые со временем утратили свою полезность и которые не столько проясняют смысл излагаемого в тексте, сколько его затуманивают: *to become not a backwater but a break through, to set trends for the future, it may well become a jewel in the crown of the county's education*. Переводчику следует остерегаться клише, особенно там, где необходима ясность, где излагаются конкретные факты, а также в текстах «без автора», т.е. там, где автор не важен, – в текстах пропагандистского толка, в инструкциях, в рекламе,

когда переводчику важно добиться оптимальной читательской реакции. В этих случаях автор советует опустить клише или заменить на мёртвую метафору [Op. cit.: 107–108].

Готовая (stock, standard) метафора определяется как устоявшаяся метафора, эффективный и краткий способ описания физических и ментальных сущностей в контексте неформального общения, она вносит эмоциональную теплоту, не охлаждаемую чрезмерным употреблением: *he's on the eve of getting married, a drain on resources, hold all the trumps (cards), keep a straight bat*. И хотя сам автор не является горячим поклонником готовых метафор, он вынужден признать, что мир и общество без них не обойдутся, они как «смазка для колёс» (*oil the wheels*). Готовые метафоры могут вызывать определённые сложности при переводе, поскольку их утвердившиеся эквиваленты могут устаревать или переходить в речь иного социального класса или возрастной группы. Автор советует не использовать готовую метафору, если она не естественна для переводчика, и наоборот, использовать, если она естественна [Op. cit.: 108]. По всей видимости, выражение *a Metternich of today* входит в разряд готовых метафор.

При переводе готовых метафор на другой язык рекомендуется использовать тот же образ при условии его сравнительной частотности в лингвокультуре языка перевода: *keep the pot boiling – faire bouillir la marmite* ('earn a living', 'keep something going'); *jeter un jour nouveau sur – throw a new light on*. В меньшей степени это возможно с развёрнутыми метафорами, хотя при переводе с английского языка на французский или немецкий вероятность повышается, и в большей степени это возможно с единичными культурно-универсальными метафорами: *wooden face – visage de bois – holzernes Gesicht*.

Если же образы в лингвокультурах оригинала и перевода не совпадают, то следует заменить образ в метафоре оригинала на образ, устоявшийся и понятный носителям лингвокультуры перевода: *a drain on resources – saignee de resources – unsere Mittel betasten*. Развёрнутые готовые метафоры нередко изменяют образы, особенно если они встроены в пословицы и поговорки, которые часто являются культурно-специфичными: *upset the applecart – va a tout fichu par terre – das hat alles uber den Haufen geworfen*. Так, если в английской метафоре *upset the applecart*, употребляемой в неформальном и разговорном стиле, обозначается потеря равновесия или гармонии, французская метафора *va a tout fichu par terre* выражает общий беспорядок и, будучи ещё более разговорной, оказывает более сильное эмоциональное воздействие, а немецкая метафора *das hat alles uber den Haufen geworfen* обозначает то же, что и французская, но она более повседневная и менее эмоциональная при сравнении.

Изменение образа влечёт за собой частичное изменение значения и тональности. Например, французская метафора *des tas de nourriture* может быть точным эквивалентом английской метафоры *heaps of food*; она же и её вариант с единственным числом *un tas de nourriture* вполне адекватно переводят метафоры *tons of food*, *loads of food*, но *loads* тяжелее *heaps*, а *tons* тяжелее *loads*. Иными словами, при таком способе перевода всегда существует риск перегнуть палку, привнести лишней смысловой нюанс и тем самым нарушить равновесие целостного смысла [Op. cit.: 108–109].

Ещё один способ перевода готовых метафор состоит в редуцировании образа и выражении смысла средствами буквального языка, хотя это приводит к исчезновению смысловых нюансов и ослаблению или даже потере эмоционального или прагматического воздействия на реципиента. Так, английская метафора *a sunny smile* может быть вполне адекватно переведена на французский язык как *un sourire radieux* или *un sourire épanoui*, но ни один из переводов не обладает теплотой, яркостью и очарованием английской метафоры. Необходимо также иметь в виду, что редуцирование готовой метафоры до чистого смысла может в некоторых случаях развеять мистификацию, слишком прямо и честно вывести на чистую воду тенденциозное утверждение. Однако когда классический образ перестаёт быть понятным для образованной молодёжи, тогда от него можно и отказаться, но это зависит от его важности для лингвокультур оригинала и перевода. При избыточности готовых метафор в текстах для массовой аудитории, когда автор не имеет значения, от них также лучше отказаться. Любопытно, что данный способ перевода довольно распространён в переводах художественной литературы, т.е. там, где это часто мало оправдано, по сравнению с нехудожественными текстами, где метафора используется для смягчения формального языка или оживления стиля информативного текста [Op. cit.: 110–111].

П. Ньюмарк не приводит определения адаптированной метафоры, и, к сожалению, нам не встретилось хоть сколько-нибудь надёжных источников со своими трактовками. В монографии она преподносится как разновидность готовой метафоры (*adapted stock metaphor*), которую также рекомендуется переводить или с помощью эквивалентной адаптированной метафоры (*the ball is a little in their court – c'est peut-être à eux déjouer, sow division – semer la division*), или редуцировать образ и передавать только смысл (*get them in the door – les introduire*). Здесь также важно не переборщить, пытаясь подправить оригинал [Op. cit.: 111].

Под «свежей» (*recent*) метафорой П. Ньюмарк понимает метафорический неологизм, часто неизвестно кем придуманный, который стремительно распространился в языке оригинала; если речь идёт о новом объекте или действии, то его номинация представляет собой метоним.

Такие примеры можно переводить дословно при условии очевидности смысла для аудитории языка перевода (*head-hunting – chasser aux têtes*).

Что касается оригинальных (original) метафор, созданных или процитированных автором оригинального произведения, то в принципе их следует переводить дословно, независимо от их универсальности, культурной специфичности или персональности, так как в подобных метафорах содержится сердцевина авторского посыла, авторский взгляд на мир, его творческий заряд. А, кроме того, оригинальные метафоры – источник обогащения языка и культуры перевода, достаточно вспомнить лучшие переводы великих классиков литературы. И всё же, если оригинальная метафора оказывается настолько культурно-специфичной, что кажется маловразумительной, то возможно заменить её на другую метафору или передать только её смысл [Op. cit.: 112–113].

Таким образом, в настоящей книге П. Ньюмарка мы находим несколько способов перевода метафоры:

- дословный перевод с воспроизведением образа оригинальной метафоры;
- замена метафоры на другую метафору и другой образ, более понятный для читателя переводного текста;
- отказ от метафоры и образа и передача только смысла средствами буквального языка;
- опущение метафоры без какой-либо замены (для избыточных метафор).

В другой, также упомянутой здесь публикации этого автора добавляются такие способы перевода, как использование сравнения (simile) с ослаблением метафоры, а также соединение метафоры и буквального языка (метод Моцарта) и адаптация готовой (стандартной) развёрнутой метафоры [Newmark 1998: 144, 184].

ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВОСТИЛИСТИКА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Обсуждается статус современной лингвостилистики в ряду смежных областей лингвистического знания (теории дискурса, прагматики); предпринимается попытка аспектизации категории *стиль* посредством соотношения с базовыми понятиями лингвистики *язык* и *речь*, намечается системный подход к трактовке стиля в рамках различных стилистических направлений на единой терминологической основе; даётся обзор основных концепций современной отечественной лингвостилистики: перечисляются традиционные школы, характеризуются новаторские стилистические изыскания

Ключевые слова: стиль, дискурс, язык, речь, лингвостилистика, коммуникативная стилистика, жанроведение, прагматика

Общая характеристика современной лингвостилистики

Становление стилистики как самостоятельной лингвистической дисциплины относится к середине XX в. и обусловлено целым рядом причин, в числе которых в качестве основной следует назвать кризис структурализма и укрепление функционализма. Фиксирование фокуса исследовательского внимания на употреблении языка связано именно со стилистикой – «нет стиля без речи и речи без стиля» (Г. О. Винокур). Действительно, стилистика изучает особый тип системности – не языковую системность, а речевую (М. Н. Кожина); активно вовлекает контекст в широком смысле; делает объектом изучения устный текст; начинает использовать нестрогие (в том числе интерпретативные) методы исследования; наконец, декларирует индифферентность к уровневому устройству языка, выстраивая системную вертикаль стилистических ресурсов по всему разрезу языка, вдоль традиционных уровней структурной модели.

Бегло обозначенная векторность стилистики, как кажется, должна свидетельствовать о её «большом научном будущем» и перспективности, однако эта простая логика оказывается не в ладу с реальным положением дел, несмотря на то, что появление в 60-х годах XX в. в отечественной лингвистике функциональной стилистики, основы которой были заложены в работах В. В. Виноградова и представителей Пражского лингвистического кружка, способствовало кратковременному всплеску стилистических исследований. Неравнодушие стилистики к появлению субъектной модели описания языка повлекло неоднократные обвинения её в отступлениях от собственно «лингвистичности». В западной лингвистике популярна оппозиция «лингвистика – стилистика», выводящая стилистику за пределы основных дисциплин, изучающих систему языка, но не способствующих чёткой формулировке особых задач стилистики. В

частности, Н. Энквист называл стилистику «тенью лингвистики», а П. Сокконен полагал, что стилистические характеристики всегда выходят за рамки грамматики и только мешают адекватному описанию системы языка.

На этом фоне мы наблюдаем вытеснение стиля дискурсом, который стал объектом огромного количества лингвистических исследований. «Слипание» понятий *стиль* и *дискурс* связано с пониманием стиля как разновидности литературного языка, в которой язык выступает в той или иной социально значимой сфере общественно-речевой практики людей. Относительно взаимосвязи этих терминов высказывался Ю. С. Степанов: «Термин "дискурс" (фр. *discours*, англ. *discourse*) начал широко употребляться в начале 1970-х гг., первоначально в значении, близком к тому, в каком в русской лингвистике бытовал термин "функциональный стиль" (речи или языка). Причина того, что при живом термине "функциональный стиль" потребовался другой – "дискурс", заключается в особенностях национальных лингвистических школ, а не в предмете» [Степанов 1998: 670]. Из содержания статьи, посвящённой стилю в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» (1990), составителем которой является цитируемый автор, следует, что функциональный стиль и общепринятая манера использования языка не одно и то же: стиль – это 1) стиль языка; 2) функциональный стиль; 3) «общепринятая манера, обычный способ исполнения какого-л. конкретного типа речевых актов»; 4) индивидуальная манера; 5) языковая парадигма эпохи [Степанов 1990: 494].

Сходную позицию занимает В. И. Карасик. Термин *функциональный стиль* относится, по его мнению, к числу наименее удачных терминов в лингвистике, и поэтому, основываясь на критерии жанрового канона дискурса, он предлагает новое обозначение для обсуждаемого понятия – формат дискурса. Под форматом дискурса понимается разновидность дискурса, выделяемая на основе коммуникативной дистанции, степени самовыражения говорящего, сложившихся социальных институтов, регистра общения и клишированных языковых средств. Формат дискурса представляет собой конкретизацию типа дискурса, количество этих форматов является достаточно большим, но измеримым. Формат дискурса в свою очередь конкретизируется жанрами речи, которые выделяются на индуктивной основе [Карасик 2002: 294].

По сути дискуссия разворачивается вокруг понятий *дискурс* и *функциональный стиль* (не *стиль!*), который брендирован функциональной стилистикой, заместившей собою в отечественной традиции стилистику в целом.

Трактовка стиля как функционально-речевой разновидности языка (которую в свою очередь приравнивают к дискурсу) входит в некое противоречие с расхожим тезисом о том, что ситуации «чистого стиля»

крайне не типичны в реальной речевой практике: «языковую структуру функциональной разновидности входит комплекс единиц всех уровней. Степень их внеязыковой обусловленности различна. Состав же функционального стиля как набора единообразно окрашенных единиц, извлеченных из всех уровней, в этом смысле однороден» [Винокур 2009а: 58–59]. Дискурсивная стилистическая гетерогенность естественна, что не мешает нам в дискурсивном потоке выделять стилистические векторы и/или «дозировки» определённого стиля. Т. Г. Винокур замечает, что «средства одного стиля не могут обслужить ни одну речевую действительность» [Op. cit.: 44].

При сопоставлении дискурса и стиля Ж. Женетт воспроизвёл ставшие афористичными слова Ф. де Соссюра «о неразделимости лицевой и оборотной стороны листа бумаги», а связь стиля и дискурса выразил в известной формуле: «не бывает дискурса без стиля, равно как и стиля без дискурса: каков бы ни был дискурс, стиль является его аспектом, а отсутствие аспекта – понятие явно бессмысленное» [Женетт 1998: 56]. По мнению О. Г. Ревзиной, «максимы Женетта с полным основанием могут быть положены в основу "стилистики завтрашнего дня". Они делают необходимым интеграцию в стилистику новейших лингвистических представлений и её выход из изоляции и маргинальности» [Ревзина 2004: 20].

Попытки отказаться от понятия стиля и заменить его дискурсом признаются лишёнными основания, поскольку дискурс и стиль являются понятиями разной степени абстрактности, хотя могут описывать одну сущность, но с разной степенью глубины охвата анализируемого явления. Выход видится в понимании стиля как манеры языкового выбора в широком смысле, а дискурса как среды функционирования стиля. Такой подход снимает ненужные терминологические смещения и даёт дополнительный инструментарий к исследованию реальности языка.

Следующая методологическая инверсия, послужившая причиной вытеснения стиля в зону исследовательской маргинальности, связана с прагматикой. Неслучайно расцвет стилистики падает на допрагматический период, и наоборот, рост интереса к прагматике совпадает со временем экстенсивного развития стилистики как лингвотeorетической дисциплины. При этом ответ на вопрос о разграничении предметных областей стилистики и прагматики неочевиден.

Отталкиваясь от семиотической триады, можем констатировать, что прагматика сосредоточена на субъективности, т.е. отношении знаков к их интерпретаторам. Этот тезис не вызывает сомнений, если не считать его сугубую и безусловную применимость к другим лингвистическим дисциплинам (например, психолингвистике и стилистике). Поэтому логика рассуждения на заданную тему требует сначала предварительного ограничения предметных областей стилистики и прагматики, а затем их

сопоставления. Принимая во внимание сложность и обширность затронутой темы, в рамках настоящей публикации ограничимся несколькими комментариями.

1. Идеи прагматики разрабатываются в рамках различных национальных школ (см. обзор в [Рыжова 2007: 8]): англосаксонская школа анализирует языковые акты как социальные операции; германская школа рассматривает функцию воздействия и диалогические маркеры в языке на основе анализа разговора; французская школа изучает средства выражения субъективности в языке; российская школа рассматривает язык как деятельность в широком коммуникативном контексте, подчеркивая связь языка с совместной деятельностью языкового коллектива.

2. Основатель Тверской школы лингвистической прагматики И. П. Сусов определяет прагматику как «исследование особенностей употребления языка с учётом актуальных контекстов речевого общения» и считает уместным говорить о прагматике как об одном из направлений изучения речевой деятельности [Сусов 2007: 89].

3. В семиотической триаде «семантика – синтактика – прагматика» последний её элемент настойчиво эксплицирует коммуникативную сторону языкового функционирования. По словам Н. Д. Арутюновой, «прагматика представляет собою отношение знаков к их интерпретаторам» [Арутюнова 1998: 3].

4. Признавая, что границы этой дисциплины могут трактоваться очень широко, В. В. Богданов выделяет три её фундаментальных направления: 1) учение о речевых актах; 2) изучение правил и конвенций речевого общения; 3) исследования, связанные с «характером знаний и информационных потребностей коммуникантов» как конкретного наполнения речевых актов и пропозиций [Богданов 1996: 268–275].

5. В связи с этим можно заметить признаки тяготения прагматики к универсализму, которые свидетельствуют о разобщении исходных прагматических понятий язык – человек. Как пишет В. В. Богданов, многочисленные оригинальные классификации речевых актов не связаны с выявлением языковых средств их выражения. Сходные мысли высказывает Т. Г. Винокур. «Отвечая "синтетическому подходу к языку", прагматика, вырвавшись из оков бихевиористской методологии "простого наблюдения" или оттолкнувшись от неё, но, не коснувшись при этом конкретизирующих проблем подсистемно-дифференцированного языкового употребления, пошла по линии логической и философской интерпретации коммуникативной речевой деятельности» [Винокур 2009а: 21].

6. Что касается общих принципов, лежащих в основе эффективного речевого взаимодействия, выдвинутых Г. П. Грайсом, Дж. Личем, П. Браун и С. Левинсоном, К. Кербрат-Оррекиони, то они носят умозрительный характер и лишь увеличивают расстояние «между жизнью

и языком», поскольку попытка их соблюдения в реальной коммуникации представляется иллюзорной. В этом нетрудно убедиться, обратившись к основным постулатам перечисленных теорий (см. обзор в [Мкртычян 2011]).

7. При общем изложенном выше взгляде на прагматическую проблематику легко заметить дефицит эмпирического описания того, как поступает человек, решая для себя проблему выбора языковых средств. Это приводит к воссоединению прагматики с семантикой, основанной на стяжении аспектов значения и употребления. Например, И. М. Кобозева в своем учебнике «Лингвистическая семантика» [Кобозева 2007] по сути включает прагматику в семантику. «В рамках широкой концепции семантики на базе логико-философской теории речевых актов оформился такой раздел, как семантика высказывания» [Op. cit.: 29].

8. Между тем, часто значение говорящего отличается либо шире значения, используемого им в каком-либо контексте высказывания. В силу этого, если следовать позиции Д. Вандервекена, «семантика, трактуемая как теория значения предложения, не может быть адекватной теории значения говорящего. Собственная же задача прагматики, понимаемой как общая теория значения говорящего (или значения употребления), состоит в построении и экспликации небуквального значения говорящего в случаях употребления, например, метафор, иронии, косвенных речевых актов и разговорных импликатур»; прагматика, трактуемая как теория значения говорящего, включает в себя «семантику, понимаемую как теория значения предложения» [Вандервекен 1990: 32, 35].

9. О неясности взаимоотношений между стилистикой и прагматикой пишет Т. Г. Винокур, которая полагает, что, «углубившись со временем не в социальную, а лишь в коммуникативную реальность, прагматика предоставила изучение общественного языкового бытия другим наукам, в частности, стилистике» [Винокур 2009а: 22]. Универсальные законы речевой коммуникации, которыми ведает прагматика как «исследование семантико-коммуникативной импликации языка в отношении к структуре общественной жизни», оперирующая по преимуществу моделями, по мнению Т. Г. Винокур, требуют дополнения со стороны объёма привлекаемого материала, в частности, с учётом социально-этнографической стратификации участников общения на том или ином этапе культурно-исторического развития общества. Таким образом, включая в себя прагматическую основу анализа, «стилистика оказывается в определённом смысле шире прагматики» [Op. cit.: 22].

Следует заметить, что идея взаимного обогащения стилистики и прагматики уже имеет место в отечественной лингвистике. Об этом со всей очевидностью свидетельствует название статьи И. В Арнольд

«Стилистика декодирования как прагматическая стилистика» [Арнольд 2010: 168–172], которая посвящена разъяснению сходств и различий между стилистикой декодирования и прагматикой. О наметившемся процессе интеграции стилистики и прагматики и о формировании прагмастилистики как особого направления исследований пишут Э. С. Азнаурова, Ю. С. Степанов, М. Н. Кожина и др.

В настоящее время для построения моделей реального функционирования языка активно используется термин *дискурс* и разрабатывается прагматика. В это же время обилие обширных теоретизирований и схоластических дискуссий привело стилистику в состояние «усталости». Д. Н. Шмелев заметил, что, хотя все эти споры и обсуждения никак нельзя назвать бесплодными, потому что они помогли вскрыть ряд важных и интересных фактов, «однако всё-таки, если говорить о самом предмете спора, его нельзя назвать иначе, как довольно отвлеченным. Действительно, в конце концов это не принципиальный вопрос: какую разновидность речи можно считать "функциональным стилем", а какую таковым считать нельзя, поскольку совершенно ясно, что соответствующий статус речевой разновидности будет зависеть от того определения, какое дается понятию "стиль речи"» [Шмелев 1977: 28] (разрядка моя. – С. М.).

На фоне общей стагнации стилистики в конце XX – начале XXI вв. интерес к ней полностью никогда не угасал (несмотря на то, что эта тема закрыта для разработки в институте русского языка РАН им. В. В. Виноградова). Вероятно, основная причина этого кроется прежде всего в затяжной классификационной неразберихе и размытости её ключевого понятия – *стиль*. Впрочем, сетования на это обстоятельство давно стали общим местом подавляющего большинства исследований, так или иначе затрагивающих стилистическую проблематику.

Терминологическое уточнение трактовки *стиля* как объекта лингвостилистики

Прояснение вопроса об аспектизации лингвистической категории *стиля* в соотношении с базовыми единицами языка-речи, которые могут выступать в качестве основных стилистических маркеров, позволит наметить предметное поле современной лингвостилистики и соотнести современные стилистические концепции на единой основе.

Предварительно, осознавая терминологическую «безбрежность» категории *стиль*, обозначим в самом общем виде исходное положение: стиль – это свойство языка / речи, которое эксплицируется за счет манеры (способа) употребления единиц языка / речи. Очевидно, что в данном случае имеется в виду лингвистический аспект этого понятия. По сути, первую часть заявленного тезиса можно считать продуктом жесточайшей компрессии стилистических научных воззрений

Г. О. Винокура, который писал, что без стиля – «подобного субъективного дополнения» – «в реальной действительности язык вообще невозможен» [Винокур 1959: 221].

Определение *стиля* в терминах *язык / речь, единицы языка / речи* обязывает сделать некоторые терминологические уточнения.

Соссюровское разграничение языка и речи, как пишет В. И. Иванова, обусловлено целями «научного изучения системности ЯЗЫКА (языка-речи)», между статической (лингвистикой языка) и динамической (лингвистикой речи) системностями нет резкой границы, «так же как нет ее и между языком и речью в рамках единого объекта ЯЗЫК» [Иванова 2010: 41]. На условность разграничения данного рода обращали внимание Т. Г. Винокур, В. А. Звегинцев и др.

СТИЛЬ 1 – ЯЗЫК 1. В [Будагов 1967] ЯЗЫК 1 трактуется как система концептов и стратегий пользования ими в процессах говорения и понимания речи. В этом ракурсе стиль может рассматриваться как «когнитивная подпрограмма, обеспечивающая формирование сходных по своим концептуальным характеристикам» [Беляевская 2010: 22] устных и письменных речевых произведений.

По Е. Г. Беляевской, когнитивные модели стиля «представляют собою концептуальные структуры, системы определенным образом связанных между собой концептов, которые определяют выбор языковых средств и композиционных структур при порождении речевого произведения» [Op. cit.: 23]. Такое понимание стиля в качестве единиц его обнаружения выдвигает ментальные структуры, при этом дискуссионными остаются вопросы, связанные с трактовками *концепта*, *фрейма* и других когнитивных репрезентаций знаний. Приобретает популярность термин *когнитивная стилистика* (см. [Брандес 2004]).

СТИЛЬ 2 – ЯЗЫК 2. При подходе, где ЯЗЫК 2 – это «система конструкторов и правил их комбинирования» [Залевская 2007: 90], речь идет об аналитической (или структурной/ресурсной) стилистике, объектом которой являются языковые единицы, выступающие одновременно маркерами стиля (и которой А. И. Горшков отказывал в статусе стилистики). Разграничение стилистики аналитической и функциональной имеет длительную историю в отечественной лингвистике и восходит к учению В. В. Виноградова. В качестве критерия их разграничения декларируется следующее основание: «занимается ли стилистика проблемами структурной организации языковых средств в тексте, проблемами композиции, типологии текстов, речевых единиц и т. п. Если да, то это стилистика речи, если нет, то это стилистика языка» [Одинцов 2007: 14]. Четко сформулированный В. В. Одинцовым теоретический критерий в практике аналитической работы вызывает затруднения и требует уточнений. Сопоставление СТИЛЯ 2 и СТИЛЯ 3 направлено на прояснение целесообразности такого разграничения.

СТИЛЬ 3 – РЕЧЬ 1. В этом случае РЕЧЬ 1 трактуется как языковой материал, тексты, факты языкового употребления.

Условная граница между СТИЛЬ 2 – ЯЗЫК 2 и СТИЛЬ 3 – РЕЧЬ 1 кажется очевидней при учете функционально-языкового и функционально-речевого подходов к изучению языковых выражений, который обосновывается В. И. Ивановой в [Иванова 2010] применительно к слову. Так, «в рамках функционально-языкового подхода необходимо рассмотреть функционирование слова в составе словосочетания и предложения, а в рамках функционально-речевого подхода – функционирование лексов и их вариантов в высказывании» [Op. cit.: 43]. В принятой терминологии назовем аналитическую (структурную) стилистику функционально-языковой, а функциональную стилистику в том смысле, который придавал ей В. В. Виноградов, – по преимуществу (но не полностью) функционально-речевой. Напомним, что, по В. В. Виноградову, структурная стилистика «описывает, квалифицирует и объясняет взаимоотношения, связи и взаимодействия разных соотносительных частных систем форм, слов, рядов слов и конструкций внутри единой структуры языка как "системы систем"» [Виноградов 1963: 5], а функциональная стилистика (стилистика речи) изучает функциональные стили, характеризующиеся «комплексом типичных признаков» и выделяемые в зависимости от функции языка [Виноградов 1981: 21].

Иными словами, стилистика ЯЗЫКА 2 сконцентрирована на изучении использования языковых единиц различных уровней с точки зрения языковой системности. В качестве единиц, маркирующих СТИЛЬ 2, можно считать словосочетание, предложение, лексему / словоформу / синтаксему, которые фокусируют внимание на номинативном, морфолого-грамматическом и синтаксическом аспектах функционирования слова в составе словосочетания и предложения через призму экспрессивности, закрепленной в системе языка.

Этот тезис согласуется с пониманием стиля как «коннотативного аспекта строения языковой системы» [Ревзина 2004: 16], где коннотация – «это любой компонент, который дополняет предметно-понятийное, а также грамматическое содержание языковой единицы и придает ей экспрессивную функцию на основе сведений, соотносимых с эмпирическим, культурно-историческим, мировоззренческим знанием говорящих на данном языке, с эмоциональным или ценностным отношением говорящего к обозначаемому или со стилистическими регистрами, характеризующими условия речи, сферу языковой деятельности, социальные отношения участников речи, ее форму и т.д.» [Телия 1990: 236] (разрядка моя – С. М.).

Соотнося функциональную стилистику (по В. В. Виноградову) с функционально-речевой, мы должны сделать некоторые оговорки.

Между этими понятиями нельзя поставить абсолютный знак равенства, поскольку функциональный стиль трактуется как «разновидность литературного языка, в которой язык выступает в той или иной социально значимой сфере общественно-речевой практики людей» [Степанов 1998: 494]. Здесь имеет место странная ситуация, вызванная целым рядом терминологических смещений.

Во-первых, трудно согласиться с отождествлением стиля с разновидностью литературного языка, приводящим к выводу о неудачности и архаичности термина *функциональный стиль* (см. выше). Между тем, суть разницы между стилем и речью, «погруженной в жизнь», легко улавливается: в «языковую структуру функциональной разновидности входит комплекс единиц всех уровней. Степень их внеязыковой обусловленности различна. Состав же функционального стиля как набора единообразно окрашенных единиц, извлеченных из всех уровней, в этом смысле однороден» [Винокур 2007: 58–59] (разрядка моя – С. М.). Во-вторых, понимание литературного языка как «образцовой формы исторического существования национального языка» [Бельчиков 1998: 221] порождает целый ряд дискуссий, связанных с поиском его «образцовости». При толковании литературного языка как «высшего нормированного типа общенародного языка» [Скворцов 1980: 129], литературный язык приравнивается к ЯЗЫКУ 2, автоматически переставая быть «живым» и превращаясь в искусственный конструкт (см. выше), который имеет право стать объектом изучения функционально-языковой стилистики. Концепция стиля как отклонения от «нейтрального» фона восходит к концепции Ш. Балли, который полагал, что «стилистика изучает экспрессивные факты языковой системы с точки зрения их эмоционального содержания, то есть выражение в речи явлений из области чувств и действие речевых фактов на чувства» [Балли 2009: 33], а задачу стилистики видел в определении эмоциональной природы речевого факта.

Кажется справедливым утверждение Р. А. Будагова о том, что программный постулат функциональной стилистики относительно языковых отклонений «антифункционален и поэтому ошибочен» [Будагов 1967: 127] (разрядка моя – С. М.). Концепция стиля как отклонения подверглась критике и за рубежом. В этом отношении особую известность получила точка зрения М. Риффатера, который указал на то, что понимание стиля как сдвига ставит почти непреодолимые трудности при стилистическом анализе. Понятие нормы М. Риффатер предложил заменить стилистическим контекстом и выделять стилистические нормы по отношению к этому контексту (более подробно о стилистической норме и стилистическом контексте в концепции М. Риффатера см. в [Riffaterre 1960]). Стилистический контекст есть отрезок текста, прерванный появлением элемента низкой предсказуемости, чем-то неожиданным,

побочным. Как отмечает В. В. Одинцов, эта теория оказывается «громоздкой и неудобной в применении к реальным контекстам», методика выделения стилистического контекста представляется неопределенной, колеблющейся и «не выходит за рамки стилистики языка» [Одинцов 2007: 28].

Функционально-речевая стилистика (в противоположность функционально-языковой) может быть сосредоточена на способах структурной организации языковых средств в текстах, на проблемах их композиции и типологии (по В. В. Виноградову и В. В. Одинцову). Здесь текст понимается как «продукт производства, говорения (для звукового языка)» [Касевич 1988: 50].

В таком аспекте к базовым единицам функционально-речевой стилистики следует причислить *речевой жанр* как форму структурирования речевой продукции.

СТИЛЬ 4 – РЕЧЬ 2. Здесь стиль становится объектом дискурсивной стилистики (или стилистики дискурса). РЕЧЬ 2 уравнивается с дискурсом, который в свою очередь трактуется как «речь, погруженная в жизнь» (Н. Д. Арутюнова); «речь, присваиваемая говорящим, речь, определяемая субъективностью автора» [Бенвенист 2002: 285]. Вероятно, на этот аспект речи указывал А. А. Леонтьев, когда писал о «представлении речевой деятельности как "потока речи", своего рода пространственно-временного континуума говорений, образованного пересечением и взаимоналожением полей речевой активности говорящих индивидов» [Леонтьев 2007: 20]. Мы не будем детально разбираться в многочисленных определениях термина *дискурс*, что увело бы нас далеко в сторону. Отметим, что В. Е. Чернявская сводит его понимания к двум основным направлениям: конкретное коммуникативное событие, фиксируемое в текстах и устной речи, осуществляемое в определенном когнитивно и типологически обусловленном коммуникативном пространстве; 2) совокупность тематически соотнесенных текстов [Чернявская 2001: 14–16]. Наши размышления лежат в рамках первого направления, что при более пристальном рассмотрении дает основания вслед за И. Н. Борисовой разграничить текстовую деятельность и дискурсивную деятельность. По мнению И. Н. Борисовой, глубинное психологическое отличие дискурсивной деятельности от текстовой кроется в различной установке на результат деятельности и в различной форме существования их продукта. Продукт дискурсивной деятельности не предназначен для сохранения в фиксированном виде, но подвергается фиксации в специальных исследовательских целях. Акт его отчуждения (письменная фиксация) есть «акт насильственный, искусственный, вырывающий продукт дискурсивной деятельности из естественной среды его функционирования, из контекста жизни, где он предназначен только для непосредственных участников» [Борисова 2009: 139]. Примечательно,

что в отечественной традиции продукт дискурсивной деятельности принято называть *текстом*, например, *устный текст* (М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова), *разговорный текст* (М. А. Кормилицына). Вероятно, такие факты можно объяснить терминологическим «слипанием» РЕЧИ 2 и РЕЧИ 3, которое позволяет трактовать стилистику как «лингвистическую науку, изучающую закономерности функционирования языка в различных сферах общения, соответствующих тем или иным разновидностям человеческой деятельности» (т.е. РЕЧЬ 2), «а также речевую системность складывающихся при этом функциональных стилей и иных функционально-стилевых разновидностей, нормы отбора и сочетания в них языковых средств» (т.е. РЕЧЬ 1) [Кожина 1993: 21].

Обратимся к единицам структурирования дискурса, которые должны отвечать требованиям процессуальности, интересубъективности и одновременно находиться в фокусе стилистического анализа.

Вопрос о единицах дискурс-анализа широко обсуждается. В качестве конкурирующих функционально ориентированных теорий выступает теория речевых актов и теория речевого поведения, которое трактуется как линейная синтагматическая последовательность речевых поступков.

И. П. Сусов отмечает, что «слово "акт" употребляют, чтобы подчеркнуть динамическую, процессуальную сторону явления. Если не имеется в виду процесс, нередко пользуются термином высказывание» [Сусов 2007: 36]. Обращается внимание на то, что *речевой акт* требует переосмысления, поскольку он фактически не оправдывает претензий на статус минимальной единицы общения. С целью преодоления искусственности *речевого акта* в качестве минимальной единицы дискурса вслед за Т. А. ван Дейком выдвигается *коммуникативный акт*, который объединяет речевой акт говорящего, аудитивный акт слушающего и коммуникативную ситуацию в единую структуру (В. В. Богданов, М. Л. Макаров, И. П. Сусов).

Речеактовое направление стимулировало появление терминов *минимальная диалогическая единица*, *акт речевого взаимодействия*, *диалогическое единство*, *интеракция (взаимодействие)* и др. *Минимальная диалогическая единица (МДЕ)* опирается на понятие иллокутивного вынуждения. Термин введен А. Н. Барановым и Г. Е. Крейдлиным. «МДЕ, или минимальный диалог, – это последовательность реплик двух участников диалога – адресанта и адресата, – характеризующаяся следующими особенностями: (I) все реплики в ней связаны единой темой; (II) она начинается с абсолютно независимого и кончается абсолютно зависимым речевым актом; (III) в пределах этой последовательности все отношения иллокутивного вынуждения и самовынуждения выполнены; (IV) внутри данной последовательности не существует отличной от нее подпоследовательности, которая удовлетворяла бы условиям (I) – (IV)

[Баранов, Крейдлин 1992: 82–84]. Л. Л. Федорова в качестве основной единицы речи называет *акт речевого взаимодействия*, «соответствующий однократному обмену репликами – акции и реакции» [Федорова 1991: 43–49]. Термин Л. Л. Федоровой подчеркивает синергетичность речевого общения, заключенную в слове «взаимодействие». Однопорядковыми являются термины *интеракция* (или *микродиалог*, или *диалогическое единство*) – «двухчастная, диалогическая по своему характеру единица» [Сусов 1983: 10].

Другая теория сосредоточена на понятии *речевое поведение*. Традиция выделения речевого поведения (как системы речевых поступков) в самостоятельный объект исследования прослеживается в трудах В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, Л. П. Крысина, Ю. С. Степанова. Статус речевого поведения как самостоятельного предмета внешней лингвистики обосновала Т. Г. Винокур в [Винокур 2007]. Она считает речевое поведение совокупностью речевых поступков, с внутриязыковой стороны определяемую закономерностями употребления языка в речи, а с внеязыковой – социально-психологическими условиями осуществления языковой деятельности» [Op. cit.: 12]. По мысли Т. Г. Винокур, речевая деятельность актуализируется в рамках речевого поведения, как язык актуализируется в речи.

Обстоятельное описание *речевого поступка* как единицы анализа дискурса находим в монографии И. Н. Борисовой «Русский разговорный диалог: структура и динамика». По И. Н. Борисовой, речевой поступок – «это эмпирически воспринимаемая единица речевого поведения, с которой говорящий и слушающий имеют дело в устной коммуникации» [Борисова 2009: 145].

Понятие речевого поступка и понятие речевого акта противопоставляются И. Н. Борисовой как «различные способы описания речевых действий, не совпадающие по объему и степени абстракции: смысл речевого поступка психологичен и межсубъектен, речевой поступок конкретно адресован и контекстуален. Иллокутивная сила речевого акта не всегда совпадает с интересубъективным коммуникативным смыслом речевого поступка в конкретной интеракции, поскольку сущность общения состоит не в одностороннем взаимодействии говорящего и слушающего, а в сложном коммуникативном взаимодействии двух личностей» [Op. cit.: 147]. По мнению автора, в отличие от речеактового подхода интерпретация речевых действий в терминах речевых поступков более конкретна, в ней абстрактный речевой акт приобретает контекстно и ситуативно обусловленный коммуникативный смысл, мотивированность и адресованность; категория речевого поступка соединяет деятельность и коммуникативную сторону. Речевой поступок вербализован. Его план выражения представляет собою отрезок речи, структурированный в языковом плане.

С учетом вышесказанного речевой поступок должен находиться в поле аналитического интереса лингвостилистики.

СТИЛЬ 5 – РЕЧЬ 3. Термин *речь* здесь используется в значении *речемыслительный процесс*. «От системы языка так или иначе отличают процесс говорения и слушания. Этот аспект имеет разные обозначения: речевая деятельность (Щерба), речь (Штейнталь, Соссюр, Косериу), речевая система (Арзикулов). В дальнейшем этот аспект мы будем называть термином *речевая деятельность* или *речь*» [Попова, Стернин 2007: 191]. На неоднозначность понимания речи указывает А. А. Леонтьев, называя два пути ее осмысления. Первая особенность деятельностной трактовки речи заключается во включенности речевой деятельности в общую систему деятельности человека, а вторая – в понимании внутренней структуры деятельности, в которой каждая единица обладает свойством, присущим целому (деятельности) в противоположность описанию по элементам. Речь как речевая деятельность является вторым путем. «Второе – трактовка ее именно как одного из видов деятельности, понимая под деятельностью "сложную совокупность процессов, объединенных общей направленностью на достижение определенного результата, который является вместе с тем объективным побудителем данной деятельности, т.е. тем, в чем конкретизируется та или иная потребность субъекта"» [Леонтьев 2007: 20]. А. А. Леонтьев указывает на три стороны деятельности: мотивационную, целевую и исполнительную, а также называет две ее важнейшие характеристики – структурность и целенаправленность.

Единицей речевой деятельности является речевое действие, которое в отличие от речевого поступка соединяет не только деятельностную, коммуникативную, но и речемыслительную стороны. По замечанию Т. Г. Винокур, «тенденция сблизать с психолингвистическими категориями именно процедуру стилистического отбора в последнее время заявляет о себе довольно настойчиво» [Винокур 2007: 63]. Эта тенденция продолжает мысль А. А. Шахматова о том, что коммуникация получает свое начало за пределами внутренней речи, а завершается в процессе внутренней речи [Шахматов 1941: 20]. На неразделимость речемыслительного и собственно коммуникативного аспектов речевой деятельности обращает внимание А. А. Леонтьев, включая коммуникацию в модель порождения речи [Леонтьев 2007: 155].

Трудно установить однозначную корреляцию понятий *речевое действие* и *речевой поступок*. Отношения между ними не могут описываться в системе координат «шире – уже», поскольку они комплементарны. И. Н. Борисова предлагает описывать речевые действия в терминах речевых поступков, что ведет к некоторому огрублению, поскольку речевое действие связано с тем «что происходит», оно включает в себя *превербальный* этап, с учетом мотивов и установок коммуникантов, и *вербальный*. В разрабатываемой нами концепции коммуникативной стилистики предлагается термин *речевая стратегия/речевая тактика*. Речевая

стратегия охватывает интенциональный (превербальный) этап речепорождения, она обусловлена, в частности, когнитивным стилем говорящего. Речевая тактика тяготеет к собственно коммуникативному этапу речепорождения (вербальному) и способствует реализации речевой стратегии. Как известно, эта дихотомия – весьма условная аспектизация единого процесса.

Условность данного рода логично согласуется с теми общепризнанными положениями, учитывающимися при продуцировании/понимании речи (текста), которые перечисляет А. А. Залевская: необходимость выхода в область *экстралингвистических знаний* и в сферу *психических процессов*, непосредственно связанных с репрезентацией знаний у человека [Залевская 2007: 395]. В психолингвистике полнее исследованы единицы речевой деятельности как ментальные действия, а в прагмалингвистике как коммуникативные единицы. При этом все больше осознается важность сотрудничества этих дисциплин. «В прагматической теории следует интенсивнее использовать психологические методы при разработке ряда прагматических категорий для их большей психологической достоверности» [Клюканов 1988: 10].

Систематизация рассмотренных аспектов стиля представлена в табл.

Таблица. Аспекты стиля и базовые единицы языка-речи

Аспект стиля	Область стилистики	Объект исследования	Базовые единицы
СТИЛЬ 1	Когнитивная	Речевая организация	Когнитивные единицы (концепты, пропозиции, фреймы, сценарии и др.)
СТИЛЬ 2	Структурная или аналитическая	Языковая система как система конструкторов и правил их комбинирования	Предложение, лексема
СТИЛЬ 3	Текстовая	Тексты	Речевой жанр
СТИЛЬ 4	Коммуникативная или дискурсивная	Дискурс	Речевой поступок/ речевой акт интеракция
СТИЛЬ 5	Когнитивно-дискурсивная	Речемыслительная + коммуникативная деятельность	Речевая стратегия + речевая тактика

Терминологическая упорядоченность выступает необходимым условием определения стиля как объекта лингвостилистики в первом приближении на единой терминологической основе.

Основные направления современной лингвостилистики

Обзор основных направлений современной лингвостилистики осложняется отсутствием сколь-нибудь устоявшейся в науке единой концепции стиля. Учитывая неоднозначность трактовок стиля и разнонаправленность стилистических изысканий, обозначим некоторые

устоявшиеся направления стилистических изысканий в отечественной лингвистике с опорой на аспекты перечисленные выше аспекты стиля (СТИЛЬ 1, СТИЛЬ 2, СТИЛЬ 3, СТИЛЬ 4, СТИЛЬ 5).

Общепризнанным флагманом лингвостилистики является Пермская стилистическая школа, созданная ученицей и преемницей В. В. Виноградова – проф. М. Н. Кожиной. Именно она широко поставила вопрос о зависимости функционирования языковых единиц от экстралингвистической основы. Особое внимание М.Н. Кожина уделяет научному стилю речи и научным текстам [Котюрова 2010].

Создатель и руководитель Саратовской научной школы изучения функционирования русского языка в современном обществе проф. О. Б. Сиротина решает проблему стилевой дифференциации комплексно, опираясь на системность экстралингвистических факторов. О. Б. Сиротина убедительно доказывает, что именно совокупное действие всех этих факторов формирует стилевую доминанту, вокруг которой и на основе которой происходит системная организация всех параметров стиля, его специфических и наиболее вероятных свойств (см. трехтомную коллективную монографию «Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка» (1983-1993) [Сиротина, Романенко и др. 1993]).

16 октября 2014 года на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова прошел первый научный семинар «Московская стилистическая школа». Идейным вдохновителем этого научного направления стал Г. Я. Солганик. Интересы школы сосредоточены главным образом на языке публицистики, истории формирования стилистической теории современной медиаречи, или медиастилистики. Г. Я. Солганик в программной статье «Современная русская стилистика: проблемы задачи, перспективы» отмечает, что единственным объектом, выделяющим стилистику среди других дисциплин, является функциональный стиль, поскольку «изучение каждого функционального стиля превращается в самостоятельную область исследования, в самостоятельную научную дисциплину» [Солганик 2008: 9]. Связывая перспективы развития лингвостилистики с функциональными стилями, Г. Я. Солганик предлагает считать литературный язык общестилистической основой: «Функциональные стили выступают как главная категория стилистики. Но функциональные стили в их взаимодействии, в системе – это литературный язык. Поэтому предмет стилистики можно определить как литературный язык, изучаемый в его многомерности, сложности, со стороны его функционирования, развития, как комплексное нормативно-системное образование»; «нет научной дисциплины, исследующей литературный язык в его реальности, составе, динамике,

функционировании <...> Литературный язык как объект стилистики точно очерчивает круг её задач» [Op. cit.: 11].

Изложенная позиция, безусловно, привлекательна, прежде всего, попыткой найти объединяющую основу лингвостилистики. Не вовлекаясь в обширную дискуссию по этому поводу, сделаем лишь несколько ремарок. Во-первых, выдвигая в качестве объекта стилистики язык, мы теряем исконную связь стиля с речью – «нет речи без стиля и стиля без речи» (хрестоматийные слова Г. О. Винокура). Наконец, второе обстоятельство – это неопределённость самого понятия функционального стиля. И. Ю. Моисеева и В. Ф. Ремизова в статье «Трудности определения понятия ”функциональный стиль”» представили результаты исследования пятнадцати определений обсуждаемого понятия, взятых из различных словарей и научных трудов по стилистике. Вывод оказался весьма неожиданным: «На основе системного анализа определений понятия ”функциональный стиль” установлены его наиболее значимые компоненты – необходимый и достаточный набор средств для описания фундаментального содержания понятия. Выявленная частотность компонентов позволяет утверждать, что ”функциональный стиль” является общественной, исторической, системной разновидностью языка, выполняющей определённые функции в общении» [Моисеева, Ремизова 2015: 105]. Таким образом, исходя из частотных определений, стиль признаётся явлением языка и по сути уравнивается с ним.

Пермская, Саратовская и Московская стилистические школы работают в русле традиционной функциональной стилистики, их стилистическая концепция стиля тяготеет к трактовке СТИЛЯ 2 и СТИЛЯ 3.

На фоне этой методологической инверсии в отечественной традиции существует незаслуженно забытая социокоммуникативная стилистическая концепция речевого поведения Т. Г. Винокур, которая (концепция) соотносима со СТИЛЕМ 4. Основные идеи автора изложены в ряде монографий: «Стилистическое развитие русской разговорной речи» (1968), «О содержании некоторых стилистических понятий» (1972), «Закономерности стилистического использования языковых единиц» (1982), «Русский язык в его функционировании: коммуникативно-прагматический аспект» (1993). Автор решает проблему подхода к употреблению языка в речи с позиций коммуникативной значимости использования языковых единиц для определённых целей и в определённых условиях речевого общения, при максимальном учёте двустороннего характера коммуникативного акта – со всеми сопутствующими речевому общению социопрагматическими обстоятельствами и нюансами диалектики индивидуальной интерпретации участниками речевой коммуникации объективно существующих языковых единиц, законов их соединения в связной речи и общественно осознанного восприятия [Винокур 2009f].

Говоря о современном состоянии лингвостилистики, А. Н. Васильева считает, что она «накапливает силы перед новым скачком» [Васильева 1992] и связывает свой оптимизм с разработкой не только продукционной стилистики, изучающей готовую речевую продукцию, но и стилистики речедейательностной, причём последняя охватывает порождение и восприятие речевых произведений. В число приоритетных проблем включается исследование социального стилистического сознания в отношении к сознанию индивидуальному. На этом пути существенно продвинулась Томская стилистическая школа, возглавляемая проф. Н. С. Болотновой, идеи которой изложены в коллективной монографии «Коммуникативная стилистика художественного текста: лексическая структура и идиостиль» (2001 г.).

Проблема идиостиля рассматривается с позиции того, «как конкретная языковая личность автора организует диалог с читателем, направляя его речемыслительную деятельность по определённому пути в соответствии с коммуникативной стратегией текста и интенцией создателя» [Болотнова, Бабенко, Васильева и др. 2001: 74]. Понятийный аппарат концепции выстроен с учётом ассоциативно-образной природы художественного текста. Ключевыми являются понятия «ассоциативно-смысловое поле слов», «ассоциативная структура текста», «ассоциативно-смысловое развёртывание текста», «концептуальная картина мира писателя». Другая важная идея томских исследователей заключается во введении в научный оборот коммуникативных лексических универсалий, к которым, в частности, относятся следующие законы (в терминологии авторов): смысловой избыточности, эстетически обусловленной экономии языковых средств, гармонического соответствия текстовой парадигматики и синтагматики и др. Эти универсалии сближаются со специфическими стилистическими чертами функциональных стилей, которые составляют стилистический каркас художественного текста. В целом в концепции Томской школы органично соединены подходы к трактовке СТИЛЯ 1 и СТИЛЯ 2.

Коротко остановимся на разрабатываемой нами концепции коммуникативной стилистики, которая подробно изложена в [Мкртычян 2012]. Обосновываемый интегративный подход к исследованию категории стиля направлен на объяснение вербальной манифестации стиля через выявление взаимной связанности функционирования языка с когнитивными структурами (когнитивный аспект), «запускаемыми» в действие механизмами индивидуального сознания, а также с коммуникативно-прагматическим контекстом (прагматический аспект) и с особенностями языка как системы (системно-структурный аспект). Коммуникативный стиль (объект коммуникативной стилистики) трактуется как типичная/типовая манера коммуникативной деятельности в коммуникативно-прагматическом пространстве,

маркированная системой определённых потенциально динамических единиц. Точкой приложения коммуникативного стиля является дискурс. Мы примиряем эти понятия и рассматриваем их как взаимодополняющие, перефразируя уже процитированный стилистический афоризм Г. О. Винокура: нет стиля без дискурса и дискурса без стиля. Дискурс – сущность, отвечающая на вопрос ЧТО. Коммуникативный стиль центрирован вокруг вопроса КАК, представляя собой более высокий уровень лингвистической абстракции. Основной операциональной аналитической единицей коммуникативной стилистики признаётся речевая стратегия / речевая тактика. Речевая стратегия сближается с макроинтенцией, а речевая тактика её детализирует. Это типовые единицы абстрактного уровня, служащие моделями и типовыми образцами. Речевая стратегия выполняет генеративную стилистическую функцию. Это центральная ось, вокруг которой вращаются остальные элементы всего стилистического комплекса, формируя коммуникативный стиль. Речевая стратегия/речевая тактика принципиально не являются языковыми единицами и могут быть соотнесены с вертикалью уровней языка. Предлагаемая теоретическая концепция апробирована на материале управленческой коммуникации (описаны управленческие коммуникативные стили [Мкртычян 2012]) и на материале туристического дискурса – разработана типология коммуникативных стилей экскурсовода [Янсон 2021]. В основу концепции положены аспекты СТИЛЯ 5.

Другой концепцией, которая может быть рассмотрена в контексте стилистической проблематики, является теория речевых жанров (СТИЛЬ 3). Взаимопроникновение жанроведческих и стилистических интересов, пожалуй, является общим местом лингвистики и не требует особенных доказательств. Любая поисковая система глобальной сети выдаёт целый массив сочетаний «жанрово-стилистическое своеобразие», «жанрово-стилистические характеристики», «жанрово-стилистическая принадлежность» и т.п. Трудно однозначно установить, где заканчивается «жанровое», начинается «стилистическое» (как, впрочем, и наоборот) и в каких отношениях они находятся. Вовлечение жанроведения в стилистическую сферу лежит в плоскости теоретических воззрений М. М. Бахтина, изложенных в работе «Проблема речевых жанров» [Бахтин 1986]: «всякий стиль неразрывно связан с высказыванием и с типическими формами высказываний, то есть речевыми жанрами. По существу языковые или функциональные стили есть не что иное, как жанровые стили определенных сфер человеческой деятельности и общения»; «в каждой сфере бытуют и применяются свои жанры, отвечающие специфическим условиям данной сферы; этим жанрам и соответствуют определенные стили» [Op. cit.: 429]. Изучение стилистики, по мнению М. М. Бахтина, «будет правильным и продуктивным лишь на основе

постоянного учета жанровой природы языковых стилей и на основе предварительного изучения разновидностей речевых жанров. До сих пор стилистика языка лишена такой основы. Отсюда ее слабость» [Op. cit.: 429]. В отечественной лингвистике центром жанровой мысли является саратовская школа и журнал «Жанры речи», главным редактором которого является проф. В. В. Дементьев. Журнал ведёт свою историю с 1997 г. с тематического сборника под одноимённым названием, который с 2013 года преобразован в журнал, и публикует статьи, посвящённые как общетеоретическим проблемам жанроведения, так и монографическому изучению отдельных речевых жанров.

Как отмечалось выше, стилистическая проблематика характеризуется широким охватом исследуемых явлений.

Особое место занимает не столь динамично развивающееся, но заявившее о себе когнитивное стилистическое направление (СТИЛЬ 1). Лингвистический статус когнитивных стилистических исследований определяется весьма основательно как «стадия развития стилистики». Обзор теоретических проблем когнитивной стилистики содержится в статье Н. М. Джусупова «Когнитивная стилистика: современное состояние и актуальные вопросы исследования» [Джусупов 2011: 65–76]. Отмечается, что немногочисленные работы по когнитивной стилистике, главным образом, касаются сугубо узких проблем когнитивной стилистики, связанных с художественной речью. В заключение в статье выдвигается тезис о необходимости расширения интересов когнитивной стилистики за счёт вовлечения в круг исследовательских проблем «особенностей репрезентации структур знания в текстах разных функциональных стилей» [Op. cit.: 74].

Наконец, целый ряд исследований посвящён изучению речевого поведения личности – носителя того или иного стиля мышления, или когнитивного стиля. Хрестоматийным трудом для этого условно обозначенного лингвокогнитивного стилевого направления (вслед за его последователями) считается монография М. А. Холодной «Когнитивные стили: о природе индивидуального ума». Пожалуй, именно этот подход наиболее далеко отстоит от традиционной лингвостилистики. Центральное понятие когнитивного стиля имеет сугубо психологическую трактовку: это «индивидуально-своеобразные способы переработки информации, которые характеризуют специфику склада ума конкретного человека и отличительные особенности его интеллектуального поведения» [Холодная 2004: 13]. В рамках психологии стилевой подход связан с исследованием таких свойств интеллектуальной деятельности, которые принципиально не имеют отношения к характеристике высокого/низкого уровня психологического развития личности. Пафос когнитивно-стилевого подхода в психологии связан с безоценочным взглядом на интеллектуальные возможности человека. Основу феноменологии

стилевого подхода составляют десять пар противопоставленных когнитивных стилей (например, полезависимость/полenezависимость, конкретная/абстрактная концептуализация, фокусирующий/сканирующий контроль, когнитивная простота/сложность и т.д.). Лингвистические исследования, опирающиеся на психологическую характеристику когнитивных стилей, сфокусированы на вербальных маркерах когнитивных стилей (СТИЛЬ 1, СТИЛЬ 4, СТИЛЬ 5). Так, В работе Е. В. Бесединой изучается аргументативное текстовое поведение носителей когнитивного стиля «аргументативная простота/сложность» [Беседина 2011], исследует тексты аргументативного реагирования на исходный аргументативный текст. В исследовании В. Ю. Зайцевой [Зайцева 2012] рассматривается инициативный аргументативный дискурс носителей когнитивного стиля «абстрактная / конкретная концептуализация». В диссертации И. С. Прокудиной вводится понятие лингвокогнитивного стиля репродуцирования, дается типология таких стилей. Основания для выделения и реконструирования лингвокогнитивного стиля устанавливаются на манифестационной основе (способах свертывания, компрессии и изложения информации), в зависимости от типа облигаторных дериваций, т.е. в текстоцентрическом ключе [Прокудина 2009]. В работе В. А. Скворцовой когнитивный стиль изучается на основе реактивных текстов интервью. Принимаемый прагматический подход обуславливает применение понятия коммуникативной стратегий в диалогическом событии как маркера когнитивного стиля [Скворцова 2012]. О. А. Носкова рассматривает типовые деятельностно-ориентированные операции, соотносящиеся с картиной мира субъекта и реализующиеся в типовых речевых моделях с привлечением когнитивных операций оценивания, прогнозирования, усмотрения закономерностей, инструментальной алгоритмизации, которые в совокупности составляют лингвокогнитивный стиль [Носкова 2013]. Кандидатская диссертация И. А. Степановой посвящена комплексному изучению аргументативного дискурса носителей когнитивного стиля «полезависимость/полenezависимость». В центре внимания автора – специфика аргументативной архитектоники и языковые особенности текстов, выступающих вербальными идентификаторами и репрезентантами различных способов получения, запоминания, обработки и использования информации, которые трактуются как когнитивные стили (или «особенности индивидуального ума»). Заданный исследовательский ракурс позволяет выявить типовую специфику коммуникативного поведения языковой личности в аргументативном дискурсе, скоррелированную с когнитивным стилем [Степанова 2022].

Подводя итоги краткому обзору, следует подчеркнуть, что стилистическая проблематика в отечественной лингвистике условно представлена двумя магистральными направлениями. Одно опирается на

традиции, создающие прочный фундамент, другое расширяет объект изучения и вовлекает в сферу своей предметной области смежные подходы и методы исследования. И это второе направление, несмотря на свою очень недолгую историю, сейчас, как кажется, побеждает.

Заключительные замечания

Круг вопросов, обозначенных в настоящей публикации, без сомнения, может быть отнесён к числу «принципиально дискуссионных». Одновременно с этим, стилистические постулаты, выработанные и сформулированные отечественной лингвистической традицией, считаются непреложными, углубляют идеи функционализма и фокусируются на употреблении языка.

На сегодняшний день недостаточная разработанность стилистической теории является общим местом лингвостилистики. Совместные усилия различных стилистических школ и направлений выявили объективную невозможность свести воедино все представленные к обсуждению ракурсы стилистического анализа. В стилистике возникла ситуация, при которой в рамках одной научной сферы оказались объединёнными не только различные аспекты одного явления, но и разные научные области с взаимоисключающими (по мнению одних) и взаимодополняющими (по мнению других) объектами исследования.

Предпринятая попытка аспектизации понятия *стиль* (СТИЛЬ 1, СТИЛЬ 2, СТИЛЬ 3, СТИЛЬ 4, СТИЛЬ 5) посредством соотнесения с такими базовыми лингвистическими понятиями, как *язык, речь, речевая/коммуникативная деятельность/дискурс*, позволяет очертить предметное поле стилистики на единой терминологической основе и дать совокупную характеристику стилистической проблематики современного языкознания. Предлагаемый подход, с одной стороны, узаконивает интегративность стиля и проливает свет на понимание существенных для стилистики проблем: стиль языка и стиль речи, единицы стиля и способы их выделения, системность стилистических явлений; а с другой, свидетельствует о перспективности стиля как номинального объекта лингвистических исследований, без которого, по афористичному замечанию Г. О. Винокура, «язык вообще невозможен».

ГЛАВА 5. ЕРЕВАНСКАЯ РОЗА: СИМВОЛИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ПОЭЗИИ СЕМЕНА ЛИПКИНА¹

Рассматривается поэтическая символизация жизни и смерти как один из ключевых смысло-жизненных ориентиров мировосприятия на материале армянского цикла стихотворений С. Липкина. Символизация понимается как ценностно маркированное осмысление образной стороны концепта – кванта переживаемого знания, включающего также понятийное и образно-ассоциативное измерения. Показано, что в проанализированных текстах эта тема развивается в следующих направлениях: жизнь как преодоление мучений и смерти, как память о мучениках, как единство живых и мертвых. Смерть осмысливается как потеря души. Тематически эти символы представлены в произведениях о трагедии Армении и о сходстве судеб народов, прошедших через геноцид. Символизация смерти выражена в образах одичания. Важным символом жизни является способность к состраданию, осмысление которого приобретает религиозную значимость.

Ключевые слова: Семен Липкин, поэтический текст, символизация, жизнь и смерть, Армянская трагедия.

Введение

Поэтическое осмысление реальности является одним из основных типов мировосприятия. В данной работе рассматривается поэтический отклик на судьбу армянского народа в стихотворениях С.И. Липкина. В качестве теоретической основы исследования предлагается трехмерная схема взаимосвязанных концептов «жизнь и смерть». Такое моделирование является одним из возможных путей развития дискурсивной лингвокультурологии.

Символизация как вектор мировосприятия

В языковом осмыслении реальности особую роль играют символы – ценностно маркированные образы, допускающие множественную интерпретацию [Аверинцев 1983]; [Воркачев 2021]; [Лосев 1995]; [Лотман 2000]; [Шатин 2003]; [Шейкин 2007]; [Шелестюк 1997]; [Якушевич 2012]. Символизация представляет собой развитие ценностной стороны концепта – кванта переживаемого знания – и соотносится с понятийно-логическим и перцептивно-ситуативным освоением мира [Воркачев 2014]; [Карасик 2002]; [Красавский 2008]; [Степанов 1997]; [Стернин 2008]. В понятийно-

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-18-00339 «Электронный ресурс "Армянский текст русской поэзии": репрезентация локального текста русской литературы» «Электронный ресурс "Армянский текст русской поэзии"»).

логическом плане можно выделить категоризацию, т.е. узнавание и отнесение объекта к определенному классу известных явлений, и концептуализацию, т.е. постижение и конкретизацию его характеристик. В перцептивно-ситуативном плане целесообразно разграничивать концепты на входе и концепты на выходе, т.е. воспринимаемые образы и их метафорические переносы [Слышкин, 2004]. В ценностном плане можно противопоставить менее и более мощные смыслообразующие ориентиры мировосприятия и поведения [Губман 1998]; [Дементьев 2016]; [Леонтович 2022]; [Радбиль 2017]; [Rokeach 1973]. Несколько упрощая положение дел, можно сказать, что пуговица обладает меньшей метафорической мощностью, чем, например, флаг, хотя в определенных контекстах может появляться дополнительный метафорический (и отсюда символический) смысл у объектов, воспринимаемых без особой оценочной квалификации.

В работах по семиотике символ трактуется, по Ч. Пирсу, как знак, который содержит в себе программу его интерпретации [Пирс 2006: 105]. Отметим, что как подобию (иконические знаки), так и индексы (сигнальные знаки) могут интерпретироваться в качестве предписаний. Эта мысль уточняется в выделении трех модусов использования знаков у Ч. Морриса: десигнаторы – для констатации фактов, аппрейзеры – для выражения оценки, прескрипторы – для побуждения к действию [Моррис 1983: 121]. Креативная, смыслопорождающая функция знаков подчеркивается в следующем высказывании: «Общение никак не может быть приравнено к передаче сообщений, ни даже обмену сообщениями (или информацией). ... Это процесс выработки новой информации, общей для общающихся людей и рождающей их общность (или повышающих степень этой общности)» [Каган 1988: 148–149]. Отсюда следует особая значимость символизации в общении и в интерпретации смысла применительно к разным коммуникативным ситуациям.

Как и другие коммуникативные феномены, символизация представляет собой градуальное образование. В обиходном общении, сориентированном на сообщение о чем-либо или на побуждение к тому либо иному действию, символизация как актуализация ценностно маркированного образа не выступает на первый план. Она возникает в тех коммуникативных ситуациях, когда в общении возникает потребность подчеркнуть и эмоционально акцентировать важность того или иного концепта или поступка. Сравним: «Позвони мне в семь» – «Ты опять забыл позвонить маме».

В художественном тексте символизация представлена в трех вариантах: развитие сюжета и описание героев вызывает у читателя сопереживание, отправляющее к ценностям и нормам поведения, либо запоминающееся в силу яркости образа, либо гипнотизирующее своей глубиной и неопределенностью. Эти три типа символов могут быть обозначены как эмпатические, эйдетические и энигматические смысловые

образования [Карасик 2012]. Такая интерпретация символов соотносится не столько с объектом осмысления, сколько с отношением интерпретатора к этому объекту. Вместе с тем не вызывает сомнений правомерность выделения трех типов информации в художественном тексте, по И.Р. Гальперину – фактуальной, концептуальной и подтекстовой [Гальперин 1981]. В традиционной интерпретации текста противопоставление фактуального и концептуального содержания формулируется как тема и идея текста.

Символизация жизни и смерти в армянском цикле С. Липкина

К числу важнейших тем, получающих множественное и вариативное осмысление в поэзии, относится диада «жизнь и смерть», получающая множественную интерпретацию. Отметим, что в строгом смысле перед нами не два, а четыре концепта: бытие – небытие и рождение – смерть. Вместе с тем смерть часто осмысливается не как окончание жизни, а как ее антипод.

Глубокие размышления о жизни и смерти находят яркое воплощение в лирике российского поэта Семена Липкина² (1911-2003). Показателен цикл его стихотворений, посвященных Армении.

Ереванская роза

*Ереванская роза
Мерным слогом воркует,
Гармонически плачет навзрыд.
Ереванская проза
Мастерит, и торгует,
И кричит, некрасиво кричит.*

*Ереванскую розу —
Вздых и целую фразу —
Понимаешь: настолько проста.
Ереванскую прозу
Понимаешь не сразу,
Потому, что во всем разлита —*

*В старике, прищевившем
Левантийские четки
Там, где брызги фонтана летят,
В мальшике, устремившем
Свой пытливым и кротким,
Умудренный страданием взгляд.*

Будто знался он с теми,

² Липкин С.И. Семь десятилетий: Стихотворения. Поэмы. М.: Возвращение, 2000. 590 с.

*Чья душа негасима,
Кто в далеком исчез далеке,
Будто где-то в эдеме
Он встречал серафима
С ереванской розой в руке.*

Центральным символом этого стихотворения является ереванская роза. Символика розы вариативно осмыслена в культурах разных народов: «В западной традиции – безукоризненный, образцовый цветок, символ сердца, центра мироздания, космического колеса, а также божественной, романтической и чувственной любви» [Tresidder 1998: 172].

Белая роза символизирует целомудренность, красная – страсть. Особую роль цветов розы играл в Древней Греции и христианстве [Баешко, Гордиенко, Гордиенко 2007]; [Холл 1996]. Цитируемое стихотворение представляет собой развернутое сравнение контрастных образов: роза и проза, старик и малыш, наша жизнь и эдемский сад. Ироническая рифма «роза – проза» переосмысливается в этом тексте. Роза воркует и плачет, в то время как реальная жизнь (проза) сравнивается с криками торговцев на базаре, при этом на самом деле эта проза оказывается многомерной, как и связь между стариком с четками в руке и мальчиком, грустный взгляд которого напоминает о мучениках, погибших за свою веру. Именно поэтому в руке ангела светится роза как символ жизни вечной.

Очень важный для Армении символ осмысливается в стихотворении, ассоциативно связанном с Ноевым ковчегом, который пристал после потопа к горе Арарат.

Свирель пастуха

*В горах, где под покровом снега
Сокрыты, может быть, следы
Сюда приставшего ковчега,
Что врезался в гранит гряды,*

*Где, может быть, таят вершины
Гнездовье допотопных птиц, —
Есть электронные машины
И ускорители частиц.*

*А ниже, где окаменели
Преданья, где хребты молчат,
Пастух играет на свирели,
Как много тысяч лет назад.*

*Познавшие законы квантов
И с новым связанным днем,
Скажи, глазами ли гигантов
Теперь на мир смотреть начнем?*

*Напевом нежным и горячим
Потрясены верхи громад,
И мы с пастушьей дудкой плачем,
Как много тысяч лет назад.*

Пастух, играющий на свирели, – это воплощение человеческой истории. Поскольку в этом тексте речь идет о древнем ковчеге и горе Арарат, можно сказать, что под дудочкой понимается армянский духовой музыкальный инструмент дудук, печальные звуки которого в полной мере соответствуют судьбе этого народа. Не случайно в конце этого текста сказано «мы с пастушьей дудкой плачем». Арарат – важнейший символ Армении – находится в наши дни на территории другого государства. Энигматическое упоминание о гнездовьях допотопных птиц и ускорителях частиц заставляет нас задуматься об особом беге времени в том месте, где человечеству был дан шанс еще раз развернуть свою жизнь.

Одним из важнейших символов жизни является храм – священное место, в котором человек ведет диалог с Богом.

Армянский храм

*Здесь шахиншах охотился с гепардом
И агарянин угрожал горам.
Не раз вставало горе над Гегардом,
Мы войско собирать не успевали
И в камне прорубили крепость-храм.*

*И кочевали мы, и торговали,
И создавали, каясь и греша,
Уже самих себя мы забывали
И только потому не каменели,
Что в камне зрела и росла душа.*

В Гегарде находится удивительный храм, вырубленный в скале. В стихотворении приводится упоминание о многих войнах, прогремевших на земле Армении. Парадоксальное сочетание «крепость-храм» свидетельствует о том, что этот храм создавался не только как священное место для общения с Создателем, но и как укрытие для людей. Обычно камень ассоциируется с безжизненной природой, но в данном случае именно скала позволила людям выжить и сберечь душу. Этот пещерный храм («айриванк», пещерный монастырь, или иначе

«гегардаванк», монастырь копья, назван так потому, что там хранилось копье, которым римский воин Лонгин пронзил тело Христа и которое привез в Армению апостол Фаддей. Это копье как символ смерти переосмыслено в христианстве в качестве одной из высших святынь).

Армения – это страна удивительно ярких оттенков цвета. Эта колористика жизни неразрывно связана с чередой трагедий, через которые довелось пройти армянскому народу.

Годовщина армянского горя

Хлеб, виноград, Господь.

Хлеб, виноград, Господь.

*Персики в Эчмиадзине
Цветом цветут фиолетовым.
Свод над землею синий,
Как над Синайской пустыней.
Ряса католикоса
Цветом цветет фиолетовым.
Медленно, многоголосо
Звон поминальный вознесся:*

Хлеб, виноград, Господь.

Хлеб, виноград, Господь.

*Страшная годовщина
Страшной народной гибели.
В церкви Эчмиадзина —
Слово Божьего сына.
Поровну мы разделим
Тоненькие опресноки.
Выйдем из храма с весельем,
В поле траву расстелим.*

*Жертвенного барана
Мы обведем вокруг дерева.
В сердце — вечная рана,
А земля нам желанна.
Все мирозданье в расцвете,
Все непотребное — изгнано,
Только и есть на свете —
Дети, дети, дети,*

Хлеб, виноград, Господь.

Хлеб, виноград, Господь.

*Боже, к твоим коленям
Я припадаю с молением:
Да оживут убиенные
В этом саду весеннем!
В нашем всеобщем храме
Да наслаются весело
Всеми твоими дарами!
С нами, с нами, с нами —*

*Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.*

Речь идет о годовщине страшной резни 1915 года, получившей название геноцида армян, когда в Турции было убито до двух миллионов армян. В память об этом событии 24 апреля в годовщину депортации армянской интеллигенции из Стамбула ежегодно отмечается это траурное событие. В стихотворении повторяются в качестве рефрена три слова «хлеб», «виноград», «Господь». Хлеб – это основа питания земледельцев, он ассоциируется с трудом на земле, виноград выступает как плод для изготовления вина, дающего веселье и укрепляющего сердце, вспомним строки из Библейской «Песни Песней»: «*Освежите меня яблоками, подкрепите меня вином*», но квинтэссенцией человеческого бытия является диалог с Создателем, молитва. Виноград как христианский символ вызывает идею жертвоприношения. Не случайно сближение синего цвета неба над Синайской пустыней и над Эчмиадзином. Автор сравнивает цвет персиков в резиденции Патриарха армянской церкви с облачением католикоса. Не утихает боль в сердце при воспоминании об убитых детях во время погромов в Турции. Это стихотворение звучит как заклинание. При кажущейся простоте этот текст в значительной мере энигматичен: Что значит призыв «*В поле траву расстелим*»? Что означает словосочетание «*В нашем всеобщем храме*»? Энигматические символы нацелены на значительную вариативность индивидуального восприятия. Одним из возможных вариантов интерпретации этого текста является идея единства живых здесь и сейчас и пребывающих в жизни вечной.

Ассоциативное расширение понимания армянской трагедии

Символизация жизни и смерти в поэтических текстах С. Липкина соединяет судьбы народов, которым выпало пройти через бесчеловечный геноцид:

Зола

*Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,*

*Но вышел я на путь земной
Из чрева матери — из печи.*

*Еще и жизни не поняв
И прежней смерти не оплавав,
Я шел среди баварских трав
И обезлюдевших барачков.*

*Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «мерседесы»,
А я шептал: «Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?»*

Печи нацистских лагерей были закономерным развитием уничтожения и изгнания армян в Турции. Поэт подчеркивает идею вечного пребывания среди нас тех, кого убили каратели. Обратим внимание на то, что живым свойственно концентрироваться на текущих ежедневных заботах. Спокойная размеренная жизнь европейского города с потоком машин в этом контексте воспринимается как омертвление души. Поэт ушел из жизни до того, как в его родной Одессе 2 мая 2014 г. были сожжены заживо в доме профсоюзов противники Евромайдаана. С учетом этой информации стихотворение приобретает пророческий смысл.

Противопоставление жизни и смерти по-новому осмысливается в горьком поэтическом наблюдении:

Короткие рассказы

*О том, как был с лица земного стерт
Мечом и пламенем свирепых орд*

*Восточный град, — сумел дойти до нас
Короткий выразительный рассказ:*

*«Они пришли, ограбили, сожгли,
Убили, уничтожили, ушли».*

*О тех, кто ныне мир поверг во мрак,
Мы с той же краткостью расскажем так:*

*«Они пришли как мор, как черный сглаз,
И не ушли, а растворились в нас».*

Сравнивая жестокость прежних эпох с бесчеловечностью нашего времени, поэт упрекает современников в том, что нам не удалось

сохранить в чистоте наши души. Вывод ясен: современная цивилизация больна. Эта мысль рельефно выражена в следующем тексте:

Обезьянник

*Когда, забыв начальных дней понятие
И разум заповедных книг,
Разбойное и ловчее занятие
Наш предок нехотя постиг,*

*Когда утратил право домочадца
На сонмы звезд, на небеса,
И начали неспешно превращаться
Поля и цветники в леса, —*

*Неравномерным было одичанье:
Вон там не вывелся букварь,
А там из ясной речи впал в мычанье
Еще не зверь, уже дикарь,*

*А там, где шел распад всего быстрее,
Где был активнее уран,
Властители, красавцы, грамотеи
Потомством стали обезьян.*

*Еще я не нуждаюсь в длинных лапах,
Но в обезьянник я захожу,
И, чувствуя азотно-кислый запах,
Несчастливым выродкам твержу:*

*«Пред вами — царства Божьего обломки,
Развалины блаженных лет.
Мы, более счастливые потомки,
Идем во тьму за вами вслед».*

Речь идет об одичании людей, о вырождении человечества. Кстати, в одном из апокрифических текстов сказано, что часть строителей Вавилонской башни была уничтожена, а часть превратилась в обезьян. Люди утратили «разум заповедных книг» и «право домочадца». Можно сказать, что этот текст является поэтической антиутопией. Важным индикатором одичания является утрата ясной речи. Азотно-кислый запах — это запах грязи, нечистот, болезней. Энигматичным в этом тексте является упоминание об активности урана. Возможно, автор связывает развитие технического прогресса и поиски новых видов энергии с отравлением человечества — но такое предположение не претендует на диагноз.

Глубокий смысл прослеживается в тексте, повествующем об исцелении прокаженной:

Возвращение из Египта

*Гладит бога, просит, чтоб окрепла,
Женщина, болящая проказой,
Но поймет ли, что такое лепра,
Этот идол, крупный и безглазый?*

*Воздух пахнет знойно, пыльно, пряно,
Горяча земля и нелюдима,
И смеются люди каравана,
По всему видать, — из Мицраима.*

*Только мальчик в стираном хитоне
Слез с верблюда на песок сожженный,
И его прохладные ладони
Ласково коснулись прокаженной.*

*Он сказал: «Не камню истукана —
Это Мне слова ее молений».
И пред Богом люди каравана
Радостно упали на колени.*

В этом тексте, построенном на контрастах, речь идет о богах мнимых, идолах, и Боге живом, воплощенном в человеке. Прокаженная напрасно дотрагивается до каменного истукана. Мальчик в стираном хитоне своим прикосновением исцеляет женщину. Живое участие в беде, сострадание способно творить чудеса. Сначала торговцы, «люди каравана», ехавшие из Египта (используется название страны на иврите), смеялись над бедной женщиной, но увидев чудо, они упали на колени. Этот текст является своеобразным поэтическим апокрифом.

Заключение

Символизация жизни и смерти представляет собой один из ключевых смысложизненных ориентиров мировосприятия. В стихотворениях С. Липкина эта тема развивается в следующих направлениях: жизнь как преодоление мучений и смерти, как память о мучениках, как единство живых и мертвых. Смерть осмысливается как потеря души. Тематически эти символы представлены в произведениях о трагедии Армении и о сходстве судеб народов, прошедших через геноцид. Символизация смерти выражена в образах одичания. Важным символом жизни является способность к состраданию, осмысление которого приобретает религиозную значимость.

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТОВ «ИСКУССТВО» И «ЖИЗНЬ» В РОМАНЕ В.А. КАВЕРИНА «ХУДОЖНИК НЕИЗВЕСТЕН»

Предметом исследования в данной главе стал роман В.А. Каверина «Художник неизвестен». Основу концептосферы романа составили концепты «жизнь» и «искусство», они создали неразделимое единство, отличаются сложностью и многообразием репрезентаций. Роман В.А. Каверина рассматривается как произведение русского авангарда.

Ключевые слова: роман, русский авангард, В.А. Каверин, концепт, концептосфера

Русский авангард как одно из проявлений искусства первых десятилетий XX в. находится в центре внимания исследователей многих гуманитарных направлений (См.: [Балицкая 2003], [Бобринская URL], [Мальцева 2021], [Смирнова URL], [Устюгова URL] и др.). Советская литература 1920-х – начала 1930-х гг., как известно, отличалась разносторонностью художественных исканий и явно выраженным экспериментальным характером. Об этом периоде написано много научных трудов, поэтому мы не будем заострять внимание на общей характеристике литературного процесса. При изучении модернистских течений в искусстве и литературе тех лет исследователи обращали внимание и на роман В. А. Каверина «Художник неизвестен» (1931), рассматривая его с точки зрения развития общих тенденций литературы: в столкновении реализма и авангарда, в литературных поисках новаторских средств отражения нового строящегося мира (См.: [Кольцова, Мяовэнь URL], [Криворучко 2008], [Салиенко 2019], [Старосельская URL] и др.).

Концептосфера романа до сих пор не привлекала внимания ученых, в то время как её исследование, на наш взгляд, интересно и продуктивно. Это и позволило нам обратиться к этой научной проблеме в рамках данной работы.

Роман В. А. Каверина «Художник неизвестен» воспринимается как очень сложное произведение, в котором по мере прочтения и «погружения» в глубины писательской мысли перед читателем обнаруживаются самые разные «узлы» тех проблем, которые автор не просто затронул, а сумел спаять воедино, показать во всем многообразии, разнонаправленности и в то же время в единстве и нерасторжимости. Одним из первых эту особенность романа увидел Г. В. Адамович: «"Художник неизвестен" хорош тем, что в нем все слито и сплетено, в нем нет отдельно слова и отдельно идеи, а одно стало другим, как бывает у подлинных писателей» [Адамович URL]. В то время как советская критика начала 30-х гг. ругала писателя и обвиняла его в пропаганде буржуазного искусства, даже не вникая в суть проблематики романа, Г. В. Адамович

попытался разобраться в идейной сути того, что автор хотел донести до читателя.

Принято считать, что главными героями произведения являются художники Архимедов и Шпекторов, которые, по мысли автора, олицетворяют собой разные подходы к творчеству, разное понимание искусства и его роли в формировании окружающей действительности [Кольцова, Мяовэнь URL]. Думается, что такая трактовка несколько обедняет идейный замысел В. А. Каверина, упрощает ту полемику, которая воплощена во всей художественной ткани произведения (невзирая на конкретику изображения). Третьим главным героем, на наш взгляд, является рассказчик, который появляется во второй части романа. Он не живописец, но тоже творец: он писатель, создающий художественное произведение.

Спустя много лет после выхода произведения, В. А. Каверин сказал, что прототипами героя романа Архимедова он видел В. Хлебникова и Н. Заболоцкого [Каверин 1982], но литературоведы включают в этот список и самого автора (См.; [Старосельская URL] и др.), потому что процесс творчества и стремление разобраться в собственном мировидении и миротворчестве (то, что называют творческой рефлексией) показаны в романе как нечто исповедальное и пережитое. И связано это с образом повествователя. Этот безымянный творец и становится выразителем авторского голоса и его представлений о тех сферах жизни и искусства, которые обсуждаются в романе.

Концептуальное поле романа, как следует из уже сказанного, тоже чрезвычайно сложно, хотя бы потому, что если потянуть за какую-то одну смысловую «ниточку», то рассматривать её приходится, учитывая все остальные, иначе теряется ощущение глубины и многомерности, свойственные произведению. «Поэтика сцеплений», по выражению Л. Я. Гизбург [Гинзбург 1972: 314], работает в романе в полную силу.

Представляется, что в основе концептуального ядра созданного автором мира лежит двуединство, которое и объединяет всё остальное. Это концепты «жизнь» и «искусство», которые неразделимы в данном концептуальном поле, поскольку, в понимании автора, любой художник занимается жизнетворчеством. В такую интерпретацию концептуальной основы романа органично укладывается понимание того, что и себя автор увидел полноправным героем, проживающим жизнь в данной модели действительности. Таким образом, ключевые концепты представлены в нескольких разновидностях. «Жизнь» как «реальность» («действительность»), «жизнетворчество», «бытие» и др. Что интересно, «жизнь» не противопоставляется «смерти», которая воспринимается как один из творческих актов.

«Искусство» предстает перед читателем в виде «живописи», «творческого процесса», «полотна», «интерпретации жизни»,

«художественного произведения» и др. Такое репрезентативное многообразие и позволяет, на наш взгляд, рассматривать эти концепты как нечто, выходящее за рамки данного текста, делая их принадлежностью эстетической системы авангарда. Контекстуальность данных концептов подтверждается их неразделенностью и в то же время предельной сложностью их единства.

Эта мысль довольно неожиданно нашла свое подтверждение в рассуждениях о жанровой природе романа. Ученые, изучающие жанровую природу литературы 20–30-х гг., ввели термин «роман о романе». Ли Хьенг-Сук, анализируя жанровое своеобразие советского романа той поры, охарактеризовал «роман о романе» как разновидность «романа о художнике»: «"Роман о романе" как разновидность "романа о художнике" поднимает важные проблемы осмысления статуса художника как личности, предлагает возможность проникновения в тайны творческого процесса... <...> Основные жанровые признаки "романа о романе" – наличие автора-творца, который выступает в роли создателя произведения, описывающего и комментирующего ход творческого процесса, обдумывающего создаваемый текст по ходу его развертывания, рефлектирующего по поводу культурной традиции и по поводу места романа в русле этой традиции, размышляющего о своем месте в современной литературе и пр.» [Ли Хьенг-Сук 1007: 7].

У В. А. Каверина в романе фактически представлены три типа художников-творцов: Архимедов, в какой-то степени символизирующий тип художника-романтика, Шпекторов – художник, стремящейся не отрывать от реальности, считающий своей главной целью построение социализма а не создание художественного идеала, и писатель-рассказчик, создающий свое литературное произведение. По мысли автора, их жизни и судьбы, переплетенные между собой, – это не что иное, как реальная полемика о путях и целях искусства, сформированная самой жизнью.

Поэтому каждый из героев озабочен созданием собственного произведения, поскольку это позволит утвердить ту модель искусства, которая ему наиболее близка. Такие образом, «жизнь» и «искусство» создают единый концептуальный поток, в который вовлекаются другие концепты. Например, концепт «любовь» оказывается значимым, хотя и не столь важным, в отличие от его классического понимания в искусстве.

В романе В. А. Каверина читатель легко обнаруживает рассуждения о самых разных сторонах бытия художника в обществе: о выборе жизненного пути и пути в искусстве, о настоящем и будущем, о необходимости осознанного отношения к происходящему. Со стороны искусства в романе так или иначе обсуждаются вопросы о разных типах художников, об их судьбах в новом обществе, о разных направлениях в современном искусстве, о принципах авангардного искусства и т.д.

Концепты «жизнь» и «искусство», создав единое пространство, обретают единство и в репрезентациях. Оказывается, что нравственный выбор и выбор эстетический – это также неразрывное единство, которое либо позволит утвердиться в жизни и найти в ней свое место, либо приведет к гибели.

К двуединому концепту приближается концепт «судьба», который также далеко не однозначен: творческий замысел произведения искусства изменяется по ходу проживания героями жизненных испытаний и порожденных ими переживаний. Архимедов, сходя с ума, проходит через боль утраты, разочарование и неверие, он уходит в небытие, но создает свой шедевр. Последняя фраза текста замыкает композиционное кольцо, поскольку повторяет название: «художник неизвестен». Смысл её проецируется на все содержание романа и имеет непосредственное отношение к основным концептам: соавтором полотна Архимедова выступила сама жизнь – это она расставила все по местам, она подтолкнула героя к созданию шедевра. С другой стороны, полотно становится актом искусства, утверждая приоритет одной его разновидности над другими. Поэтому конкретное авторство оказывается неважным.

Как известно, роман В. Каверина создавался на рубеже 20-30-х годов XX века, когда велись жаркие споры о советском искусстве и его роли в строительстве нового общества. Роман проникнут этой дискуссионной атмосферой, читатель как бы попадает в центр споров вокруг авангардистского искусства (оговоримся, что термины «авангардный» и «авангардистский» мы используем как синонимы [Нойхойзер URL]) как порождения нового времени и как созвучия этому времени – отсюда романтический флёр миропонимания Архимедова.

По форме, стилю, языку и даже многосюжетной композиции роман и сам похож на картину художника-авангардиста. Это впечатление усиливается тем, что на страницах произведения можно встретить имена художников П. Филонова, В. Татлина, литераторов В. Хлебникова и Д. Хармса, выразивших суть исканий русского авангарда. Встречаются названия некоторых направлений нового искусства (супрематизм, конструктивизм, кубизм). Кроме того, яркая экспериментальность романа настолько очевидна, что легко выявляется и в организации текста, и в поэтике. Действие в нем выстраивается не линейно, а повинуюсь сложной и причудливой логике: повествование разворачивается как восемь частей – восемь встреч. Интересно, что рассказчик появляется лишь во второй части, а первую можно расценить как встречу читателей с героями Архимедовым и Шпекторовым, или как встречу читателя с тем миром, в котором живут герои и который предстает перед нами в виде нескольких моментальных фотографических снимков, или как встречу читателей с тем кругом проблем, которые мучают Архимедова и обсуждаются в романе.

Аналогия с живописью авангарда возникает и потому, что в произведении полностью отсутствует экспозиция, а действие начинается как бы с полуслова. В самом начале повествования использован принцип коллажности, основанный на зрительных образах. Читатель одновременно видит «вора, гуляющего по Гостинному двору», и прикидывающего предстоящую кражу; «полотеров», которые, «подталкивая друг друга, несли ведра на швабрах»; хохочущих девиц и многое другое. Коллажность, то есть объединение в единое полотно разнородной фактуры [Бобринская URL], подчеркивается постоянно: реальные черты внешности Архимедова (длинное пальто, кепочка, очки, «на которых блестели дождевые капли» [Каверин URL]) соседствуют с изломанным отражением в витрине Шпекторова («силуэт Шпекторова прошел в темном стекле магазина, перерезанный шторой, рассыпавшийся на отраженья голов и плеч» [Op. cit.]). Наряду с реальными мгновенными зарисовками с натуры читатель видит как бы иную реальность. Её символом выступает афиша-плакат, рекламирующий иностранный фильм: упоминаются герои, актёры, место действия (Лондон) и марка автомобиля, из которого виднеется лицо героини. Парадоксальность состоит в том, что всё это разнородное многообразие воспринимается как единое целое. Таким образом, первым проявлением концепта «жизнь» становится некая «одномоментность», поскольку все, что герои (а с ними и читатели) видят, обсуждается «здесь» и «сейчас».

Идейное наполнение концептов «жизнь» и «искусство» по ходу развития сюжета только усложняется. Вспомним высказывание Г. Адамовича о том, что «Художник неизвестен» – «вещь причудливая и неясная». Начиная с самой первой страницы повествования, обозначается несколько содержательных плоскостей, в которых в дальнейшем разворачивается действие. Эти плоскости одновременно воспринимаются как разные уровни условности, находящиеся между собой в сложных, а подчас и противоречивых отношениях. И это тоже напрямую соотносится с авангардным мышлением и авангардистской поэтикой. Начальный уровень, заявленный в первой части-встрече, – мир Ленинграда, живущего по собственным законам, которые признаются рассказчиком реальными, но не истинными. По его словам, этот мир полон «скучной подлостью одних и печальным лицемерием других» [Каверин URL]. Но это лишь одна из репрезентаций «жизни».

Еще одна плоскость связана с тем местом в Сальских степях, о котором говорят герои. Этот мир воспринимается ими как место, «лишенное иллюзий» [Op. cit.], где не «умствуют», а делают нужное дело – выращивают хлеб и строят новый город. Этот мир населен не тенями, а прекрасными, самоотверженными людьми. Это другая репрезентация концепта. Реальность Ленинграда и реальность совхоза, затерянного где-то в раскаленных степях, противопоставлены друг другу.

Герой-рассказчик пишет «повесть», где героями становятся Архимедов, Эсфирь, Шпекторов и другие – это еще одна плоскость, еще один уровень условности (и другая сторона того же концепта). Здесь отношения строятся не только по законам реальности, но и по воле автора. Именно на этом уровне любовный треугольник (Архимедов – Эсфирь – Шпекторов) обретает особый смысл, в отличие от реальности, где отношения между этими людьми существуют, но не становятся определяющими в их судьбах.

Наконец, еще одна плоскость – живописное полотно, созданное Архимедовым и представленное в эпилоге (одна из репрезентаций концепта «искусство»). Оно не столько повторяет реальность, сколько выражает авторское отношение к ней – как это и свойственно авангарду. Таким образом, четыре (а может, и больше, если учесть более мелкие «осколки», «обрывки» каких-то эпизодических изображений, входящих в более крупные, но сохраняющих собственную значимость) разные плоскости составляют общую картину мира в романе. Каверину удалось из разных абстракций составить единое целое. И помог ему в этом живописный принцип коллажности, широко использовавшийся именно в авангарде. В основе его лежит стремление включить в изображение разнофактурные элементы и составить из них нечто целостное, придать им новый общий смысл.

По ходу развития сюжета изображение еще более усложняется – концепт «искусство» обретает углубленную многомерность. Коллаж дополняется все новыми составляющими: это разнообразные аллюзивные соотнесения с русской и мировой литературой. Архимедов обращается к Медному всаднику – и аккумулируется целая традиция, начинающаяся с Евгения из «Медного всадника» А. С. Пушкина и заканчивающаяся героем Маракулиным из «Крестовых сестер» А. М. Ремизова и героями романа «Петербург» Андрея Белого. Рассказчик смотрит на рисунок Архимедова и вспоминает стихотворные строки О. Я. Мандельштама. Он же в ТюЗе, в бутафорской мастерской, видит «медный таз» с пером – головной убор Дон-Кихота, его щит – противень и копьё – ухват. Протягивается новая аллюзивная цепочка: Архимедов – Дон-Кихот и донкихотство как один из способов мировосприятия. А если вспомнить, что эпиграфом к роману взяты слова Сервантеса («И они подивились уму и безумию этого человека» [Каверин URL]), то становится очевидным глубокий смысл обращения к мировому шедевру. Можно обнаружить прямые выходы на творчество Диккенса, на роман Дюма «Три мушкетера», на арабские сказки Шахерезады, на сложные соотнесения с произведениями и эстетикой В. Хлебникова и др.

Другое направление аллюзивности – история. Повествователь сравнивает героя с Робеспьером, находя в нем черты непримиримого и бескомпромиссного революционера. Потом этот образ возникает, когда

рассказчик смотрит спектакль «Гражданин Дарней» в ТюЗе. А потом Жаба показывает ему рисунок Архимедова в подтверждение его гениальности, и на нем изображен фрак Робеспьера.

Коллажный принцип композиции в романе Каверина усиливается за счет детализации изображения. Приоритет отдается зрительной детали, и это еще более упрочивает связь текста с изобразительным искусством. География Ленинграда выписана очень точно: названия улиц и площадей, их вид, маршруты передвижения героев, местонахождение их жилищ – все это позволяет читателю зримо представить происходящее.

Обилие предметных деталей просто поражает. Вот несколько примеров. Тщательно выписаны детали костюма: Шпекторов в совхозе одет в клетчатые брюки, «шотландку, залитую маслом и блестевшую, как рыба чешуя» [Каверин URL], Архимедов приходит в больницу навестить жену и новорожденного сына в провинциальном старомодном пиджаке и жилете с застежкой под горло. Автор тщательно выписывает костюмы и других героев, не забывая указать вид ткани, ее фактуру, цвет, а часто и состояние.

Костюмная деталь очень важна и в образе фрака Робеспьера как выразителя внутренней сути личности Архимедова («фрак этот сам по себе был уже человеком» [Op.cit.]) и реальное подтверждение его гениальности.

Столь же детально на страницах романа выписаны интерьеры жилищ героев, интерьеры закулисной части ТюЗа, отдела опеки и др. Все это составляет очень сложное и многомерное пространство. Важнейшую роль в нем играет цвет. Изображение раскрашено в разные цвета. Читатель видит, что постовой милиционер размахивает красной палкой. Рассказчик, следуя за Архимедовым по улицам Ленинграда, видит сгущающиеся сумерки и «синий, голубой, черный» снег [Op.cit.]. А на картине в эпилоге снег «синий, голубой, белый» [Op.cit.]. Автор перечисляет краски, которые Визель смешивает, перед тем как вылить их на головы театрального начальства. В арабской сказке, которую вспоминает рассказчик, рыбы окрашены в символические цвета.

Но цвет становится и одним из центров дискуссионности в произведении, так как именно он выражает представления о новом обществе, которое строится на глазах у героев и при их участии. Один из последователей Архимедова предлагает раскрасить город в яркие цвета. Потом эта же мысль приходит в голову одному из обитателей совхоза в Сальских степях. Для героев цвет, а вернее, разноцветье, становится выражением новой жизни, построенной на свободном и самоотверженном труде и радости созидания.

Цвет для Каверина был напрямую связан с авангардистской теорией «нового зрения» [Бобринская URL], по которой художник видит больше, чем обычный человек, и это выражается на его полотнах. Писатель связывал эту теорию с эстетическими поисками Хлебникова и

полотнами Филонова. Новое зрение, по мнению авангардистов, основано на «детскости» мировосприятия, то есть на непосредственном и очищенном от наслоений взгляде на мир.

Другой важной характеристикой «нового зрения», проповедуемого Архимедовым, является «сдвиг» – отказ от традиционного реалистического изображения, искажение привычных законов перспективы, использование геометризма, асимметрии.

Во «Встрече четвертой» рассказчик размышляет о том, что такое живопись. Когда-то он думал, что «живопись – это воспроизведение снов» [Каверин URL]. Потом он пришел к мысли, что живопись – «это природа, притворившаяся мертвой» [Op. cit.]. Но и это утверждение оказалось для него ложным. Истина в том, что «это искусство, которое вправе решиться даже на предсказание в истории» [Op. cit.]. И основной смысл этого искусства в том, что оно в состоянии «угадать существенные черты грядущих событий» [Op. cit.]. Этот пассаж дан в связи с рисунком Архимедова. На наш взгляд, он напрямую соотносится с понятием «видения» как органичной составляющей теории «нового зрения». Истинный художник должен не только уметь видеть суть предметов и явлений, но и уметь доносить ее до зрителя.

Мотив видения последовательно воплощен в романе через образ очков Архимедова, которые в тексте постоянно что-нибудь отражают и как бы живут собственной жизнью. Такое отделение зрительной способности от воспринимающего субъекта: действительность описывается как отраженная в очках, а не как увиденная героем, – является одной из особенностей концепции «нового зрения».

Архимедов производит впечатление очень рассеянного человека, живущего в собственном мире. Однако это впечатление обманчиво. Мотив углубленности творца в мир искусства и трагической оторванности его от реальной действительности, один из традиционных в теме художника и искусства с романтической эпохи, в романе Каверина оказывается ложным: Архимедов видит и замечает все, доказательством чему служит его картина.

В реальности в финале Архимедов, сломленный смертью жены, отказывается от своих отцовских прав на сына в пользу Шпекторова, настоящего отца Фердинанда. Этот поступок символичен и подчеркивает одиночество художника. У него нет будущего. В этой заключительной сцене романа Архимедов предстает совершенно потерянным, опустившимся человеком («длиннополым субъектом в нахлобученной кепке, из-под которой торчали бесцветные клочья волос» [Каверин URL]), которого повествователь даже узнает не сразу. Однако не это оказывается главным изменением в облике героя: «Он был без очков, – почему-то именно это так четко обозначило изменения во внешности героя, – и шел нетвердо, лунатической походкой человека, которому все равно куда идти»

[Op. cit.]. Таким образом, потеря очков, символически обозначающая потерю зрения, за которое боролся художник, обозначает утрату героем веры в себя, в свою идею. Таков финал романа, очевидный для Шпекторова и для повествователя, но не для автора. Авторское понимание представлено в эпилоге – в описании картины, созданной героем. Таким образом, обозначается еще одна плоскость, еще один уровень условности, объединяющий заголовок и финал.

Подводя итог, следует отметить, что концептуальный анализ романа далек от завершения, как, впрочем, и литературоведческий анализ в целом. В завершение обратимся к авторитету Г. В. Адамовича: «Но повесть заинтересовывает, и ее перечитываешь. Тогда обнаруживается стройность замысла, и все в «Художнике» становится внутренне-оправданным, – все до малейших деталей. Это не только интересная и местами даже глубокая книга, это редкая литературная удача, т. е. произведение, где, по Чехову, «каждое ружье стреляет». Приемы автора могут не нравиться, но они достигают цели, они убедительны, так как подчинены единой логике всей вещи...» [Адамович URL].

ГЛАВА 7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИТЕРАТИВА В РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА

В статье излагается гипотеза об увеличении доли итеративного повествования как следствии редукции события в поздних рассказах А.П. Чехова. Представлены соотношения сингулятива и итератива в рассказах «Володя большой и Володя маленький», «Человек в футляре», «Попрыгунья», «Анна на шее», «Скрипка Ротшильда», «Скучная история». Рассматриваются лексические индикаторы итератива, что позволяет произвести реконструкцию события в логике движения от глубинного, словесного, уровня к «поверхностным» структурам (сюжет, композиция).

Ключевые слова: итератив, сингулятив, псевдоитератив, событие, обстоятельства узуальности, цикличности, интервала; А.П. Чехов.

Ослабление событийности в поздних рассказах А.П. Чехова разные исследователи объясняют невыделенностью события из полного случайностей жизненного потока [Чудаков 1971: 146, 163, 165, 167 и далее]; чеховским представлением о том, что определяющими факторами действительности становятся «стагнация, выхолащивание жизни, оскудение и обесценивание коммуникации между людьми и фактическое их разъединение» [Щеглов 2012: 207]. Наша гипотеза заключается в том, что редукция события у Чехова должна привести к увеличению доли итератива в прозаических текстах.

В литературном и бытовом дискурсе повторяемость передается итеративом. При этом само понятие «итератив» в лингвистике и нарратологии трактуется по-разному. В коллективной монографии «Типология итеративных конструкций» [Типология итеративных конструкций 1989] авторы сосредоточены на том, как категория множественности ситуаций передается грамматическими средствами.

В.И. Тюпа за границами нарратологического познания оставляет «итеративные высказывания описательного характера <...> в которых формируется, сохраняется и передается опыт повторяющихся состояний, регулярных действий, воспроизводимых ситуаций» [Тюпа 2016: 8]. Однако остается не до конца определена граница между «описательным итеративом» и «повествовательным итеративом», притом что «повествование итеративное фиксирует процессуальные изменения или повторяющиеся состояния и действия» [Op. cit.: 51]. Включение итеративного повествования в «фон событийности» [ibid.] может свидетельствовать о признании особого назначения итератива в передаче события.

В качестве особой повествовательной техники определяет итератив Жерар Женетт в работе «Повествовательный дискурс». Соотноя событие с языком, Женетт рассматривает, с одной стороны, повторение излагаемых

событий и, с другой – повторение нарративных высказываний. Четыре типа отношений повторяемости отражены в «псевдоматематических формулах», где **П** значит – произошло, **И** – излагается.

1П/1И – «излагать один раз то, что произошло один раз <...> Таково, например, высказывание: "Вчера я лег спать рано"» [Женетт 1998: 142]. Таковую форму повествования Женетт считает самой распространенной.

НП/nИ – «излагать n раз то, что произошло n раз»: "В понедельник я лег спать рано, во вторник я лег спать рано, в среду я лег спать рано и т.д."» – также характеризуется равенством повторений с двух сторон [Op. cit.: 142]. Оба эти случая представляют сингулятивный тип повествования.

НП/1И – итератив: «излагать один-единственный раз (или скорее за один-единственный раз) то, что произошло n раз». Повествование «прибегнет здесь к какой-либо силлептической формулировке, например: «все эти дни», или «всю неделю», или «ежедневно на этой неделе он ложился спать рано» [Op. cit.: 143].

Повторный тип **1П/nИ** – «излагать n раз то, что произошло один раз»; «повторения высказывания не соответствуют повторениям события»: «Вчера я лег спать рано, вчера я лег спать рано, вчера я лег спать рано и т.д.». Называя эту форму «чисто гипотетической конструкцией, неудачным порождением умственной комбинаторики», Женетт отмечает возможности повторного повествования в случае со стилистическими вариантами или вариациями точки зрения [Op. cit.: 142].

Сравнивая традиционное повествование и прозу модернизма, Женетт отмечает, что в классическом романе доля итератива не достигает и 10%, хотя у Флобера она значительно выше. В романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» итератив всегда преобладает: 115 страниц итератива против 70 сингулятива в «Комбре»; 91 против 103 в «Любви Свана»; 145 против 113 в «Жильберте» [Op. cit.: 145]. Производя подсчет, Женетт исходит из количества страниц.

Ту же методику использовали мы, определяя процент итератива в чеховских рассказах по числу знаков. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что разброс очень велик: «Невеста» – 2% итератива; «Володя большой и Володя маленький» – 10%; «Учитель словесности» – 10%, «Попрыгунья» – 14%; «Человек в футляре» – 23%; «Скрипка Ротшильда» – 27%, «Скучная история» – 50%; «Душечка» – 63%. Уже сами эти цифры по отношению к текстам, выбранным в достаточной мере произвольно, позволяют увидеть, что, хотя показатель итератива возрастает в поздний период творчества Чехова, это не абсолютная закономерность. В то же время даже при первом приближении очевидно, что во всех названных новеллах итератив функционирует по-разному.

Вольф Шмид вопрос о наличии полноценного события соотносит с тем, имеет ли место «изменение жизненной ситуации или же это лишь

повторение одной и той же ситуации» [Шмид 2003: 245]. Во втором случае «потребность повторения», очевидно, предполагает использование итератива. Можно предположить, что восстановлению события будет способствовать параллельный анализ как глубинных (языковых), так и «поверхностных» (сюжет, композиция) структур.

Рассмотрим с этих позиций рассказ А. П. Чехова «Володя большой и Володя маленький» (1893). Современники увидели в рассказе историю с адюльтером. Критик А. Андреевский писал, что «Володя большой и Володя маленький» относится к рассказам, которые «в новых тонких вариантах затрагивают амурные вопросы» [Сахарова 1985: 487].

Заглавие «Володя большой и Володя маленький» как будто на это указывает, равно как и визуализация любовного треугольника в первой сцене: Софью Львовну, которая стоит на быстро несущейся тройке, удерживают сидящие по сторонам муж, Владимир Никитич, и «друг детства», Владимир Михайлыч. Однако это событие слишком незначительно, ничего не меняет в отношениях персонажей и к тому же ослаблено итеративом.

Ритм рассказа определяется чередованием сингулятивных и итеративных фрагментов. «Пустите меня, я хочу сама править! Я сяду рядом с ямщиком! – говорила громко Софья Львовна. – Ямщик, погоди, я сяду с тобой на козлы» [Чехов 1986: 214], – с этого начинается рассказ. Следующий за этим итеративный эпизод подчинен сингулятивной сцене, в соответствии с особой спецификацией в итеративе [Женетт 1998: 154], передавая состояние героини: «И когда в ее душе торжество и любовь к мужу мешались с чувством унижения и оскорбленной гордости, то ею овладевал задор и хотелось тогда сесть на козлы и кричать, подсвистывать» [Чехов 1986: 214]. Итеративный сегмент, в свою очередь, составляет проекцию на эпизод, оформленный в сингулятиве; последний как бы «заражен» итеративом: «Ею опять овладел тот же задор; она поднялась на ноги и крикнула плачущим голосом:

– Я хочу к утрени! Ямщик, назад! Я хочу Олю видеть!» [Ibid.].

Параллельное обозначение одного и того же действия сначала в итеративе, а потом в сингулятиве (*овладевал задор* / *овладел задор*) ослабляет событийность.

Другой вариант присутствия итеративных пассажей внутри сингулятивных сцен Женетт называет «обобщающими, или внешними, итерациями». «В данном случае временная область, охватываемая итеративным сегментом, явно шире, чем временная область, в которую он вставлен: итератив как бы открывает окно во внешнюю длительность повествования» [Женетт 1998: 145]. Таким итеративом передана в рассказе история тети: «Мысли у нее путались, и она вспоминала, как полковник Ягич, ее теперешний муж, когда ей было лет десять, ухаживал за тетей, и все в доме говорили, что он погубил ее, и в самом деле тетя *часто*

выходила к обеду с заплаканными глазами и всё куда-то уезжала, и говорили про нее, что она, бедняжка, *не находит себе места*» [Op. cit.: 215]. Этот итеративный фрагмент соотнесен с двумя переданными сингулятивом эпизодами. После первого свидания Софья Львовна бесцельно ездит по городу на извозчике: «И почему-то при этом вспоминалась ей та самая тетьа с заплаканными глазами, которая *не находила себе места*» [Чехов 1986: 225]. И назавтра повторяется то же: «А на другой день было свидание, и опять Софья Львовна ездила по городу одна на извозчике и вспоминала про свою тетю» [ibid.]. С точки зрения производимого эффекта безусловное ослабление событийности происходит в эпизоде, выделенном из множества ему подобных. Корреляция переданных сингулятивом и итеративом эпизодов усиливается за счет того, что здесь имеет место одновременное восприятие выражения «Не находить себе места» и как устойчивого оборота, идиомы в значении «быть в состоянии крайнего беспокойства, волнения, тревоги» [Фразеологический словарь русского языка 1968: 270]; «о состоянии крайнего беспокойства, мучения» [Словарь современного русского литературного языка 1958: 630], и как свободного словосочетания.

Итеративом передан рассказ о победах над женщинами Володи большого и Володи маленького. «Он [Володя большой] был тогда очень красив и имел необычайный успех у женщин, так что его знал весь город, и рассказывали про него, будто он *каждый день* ездил с визитами к своим поклонницам, как доктор к больным» [Чехов 1986: 215]. «Про него [Володю маленького] недавно кто-то рассказывал, будто бы он, когда был студентом, жил в номерах, поближе к университету, и *всякий раз, бывало*, как постучишься к нему, слышались его шаги и затем извинение вполголоса: «Pardon, je ne suis pas seul» [Op. cit.: 216].

Как пример обобщающей, или внешней, итерации можно привести следующий фрагмент: «Ягич в третий раз вошел в спальню, нагнулся к жене, перекрестил ее, дал ей поцеловать свою руку (*женщины, которые его любили, целовали ему руку*, и он привык к этому») и сказал, что вернется к обеду. И вышел» [Op. cit.: 222].

Об осознанности использования итеративных конструкций свидетельствуют случаи замены в окончательной редакции глагола совершенного вида глаголами несовершенного вида, поскольку в русском и славянских языках итератив в норме передается глаголами несовершенного вида, исключая случаи с ярко выраженной экспрессивностью [Князев 1989: 140].

Так, при первой публикации в «Русских ведомостях» автор пишет о Володе маленьком: «Он тоже имел необыкновенный успех у женщин, чуть ли не с четырнадцати лет, и дамы, которые для него *изменили* своим мужьям, оправдывались тем, что Володя маленький» [Сахарова 1985: 399]. В сборнике «Повести и рассказы»: «...и дамы, которые для него *изменяли*

своим мужьям...» [Чехов 1986: 216]. Итеративная замена происходит и в следующем эпизоде, где первоначальный вариант выглядел так: «Заезжая почти каждый день в монастырь, она надоедала Оле, жаловалась ей на свои невыносимые страдания, плакала и при этом чувствовала, что в келью вместе с нею *вошло* что-то нечистое, жалкое, поношенное, а Оля машинально, тоном заученного урока говорила ей, что все это ничего, все пройдет, и бог простит» [Сахарова 1985: 401] В окончательной редакции: «...что в келью вместе с нею *входило* что-то нечистое, жалкое, поношенное...» [Чехов 1986: 225].

Наконец, в последней редакции можно найти расположение глагольных форм, которое создает эффект «соскальзывания» сингулятива в итератив внутри одной фразы. В финале рассказа описывается катание на тройке: «А ночью опять катались на тройках и слушали цыган в загородном ресторане. И когда опять проезжали мимо монастыря, Софья Львовна...» – грамматически здесь должно последовать продолжение: «И когда опять проезжали мимо монастыря, Софья Львовна *вспомнила* про Олю, и ей *стало* жутко от мысли, что для девушек и женщин ее круга нет другого выхода, как не переставая кататься на тройках и лгать или же идти в монастырь убивать плоть...» Правомерность именно такой конструкции очевидна из контекста, так как дальше дается описание событий третьего дня: «А на другой день было свидание, и опять Софья Львовна ездила по городу одна на извозчике и вспоминала про тетю» [Чехов 1986: 225]. Использование глаголов несовершенного вида создает путаницу между сингулятивом и итеративом, придает событиям одного дня масштаб бесконечного повторения: «И когда опять проезжали мимо монастыря, Софья Львовна *вспоминала* про Олю, и ей *становилось* жутко от мысли, что для девушек и женщин ее круга нет другого выхода, как не переставая кататься на тройках и лгать или же идти в монастырь убивать плоть...» [ibid.].

Констатируя ослабление событийности вследствие применения техники итератива, нельзя не задаться еще одним вопросом: чему служит использование итеративного повествования в чеховских рассказах? Передает ли итератив, как в романе Пруста, «возврат часов, дней, времен года, цикличность космического движения» [Женетт 1998: 163], или его назначение засвидетельствовать «внеперспективное» мировосприятие.

Ответить на этот вопрос, очевидно, невозможно, не проанализировав языковые способы выражения множественности описываемых ситуаций. В. С. Храковский предлагает следующую классификацию типов такой множественности по обстоятельствам: а) цикличности; б) интервала; в) узуальности; г) кратности [Храковский 1989: 20]. Обстоятельства цикличности «обозначают регулярно повторяющиеся, хронологически определенные, преимущественно календарные периоды времени: каждую

минуту, ежегодно, по субботам» [ibid.]. Регулярность действий Володи большого и Володи маленького связана с их любовными похождениями, однако это псевдоцикличность, качество цикличности приписывает им молва; референтная и грамматическая множественность могут здесь не совпадать. «...И рассказывали про него [Володю большого], будто он каждый день ездил с визитами к своим поклонницам, как доктор к больным» [Чехов 1986: 216]. Очевидно, что эти визиты были продиктованы не попыткой гармонизировать ситуацию, но желанием вести себя как подобает светскому человеку. Этикетность ситуаций, как и недостоверность информации о них, подчеркнута в эпизоде с Володей маленьким: «Про него недавно кто-то рассказывал, будто бы он, когда был студентом, жил в номерах, поближе к университету, и *всякий раз, бывало*, как постучишься к нему, то слышались за дверью его шаги и затем извинение вполголоса: "Pardon, je ne suis pas seul"» (Простите, я не один) [ibid.].

К этому типу примыкают обстоятельства при итеративе, обозначающие нерегулярно повторяющиеся действия. Такие конструкции используются при описании Маргариты Александровны: «Рита, кухня госпожи Ягич <...> курившая папиросы без передышки *даже на сильном морозе*; всегда у нее на груди и на коленях был пепел» [ibid.]. В характеристике этой барышни-эмансипе повторяемость действий в соединении с их незначительностью выступает синонимом механистичности существования. В свете этого и «мороженые яблоки» выступают не «случайностной» деталью. Рита машинально, одну за другой, курит папиросы, машинально («от утра до вечера») поедает мороженые яблоки и так же машинально читает толстые журналы: «Дома она *от утра до вечера* читала толстые журналы, обсыпая их пеплом, или кушала мороженые яблоки» [ibid.]. Союз «или» создает синтаксическую эквивалентность, уравнивая эти два действия и перенося признаки одного (поедание яблок) на другое (чтение).

Обстоятельства узуальности «обычно», «обыкновенно», которые обозначают «эмпирически наблюдаемое, регулярное повторение ситуаций» [Храковский 1989: 21], встречаются в рассказе два раза. Обстоятельство «обыкновенно» присутствует в итеративной вставке и выдает точку зрения героини, Софьи Львовны, на поведение Володи маленького, которое она всякий раз наблюдает, находясь в ресторане в обществе двух мужчин: «Сегодня весь вечер он казался ей вялым, сонным, неинтересным, ничтожным, и его хладнокровие, с каким он *обыкновенно* уклоняется от платежа по ресторанным счетам, на этот раз возмутило ее, и она едва удержалась, чтобы не сказать ему: "Если вы бедный, то сидите дома". Платил один только полковник» [Чехов 1986: 215].

Второй раз обстоятельство «обыкновенно» употребляется совместно с «факультативным членом предложения, входящим в [его] сферу

действия» [Храковский 1989: 21]. Выражение «по опыту» соединяет указание на знание, полученное эмпирическим путем, относительно того, как разрешаются подобные ситуации: «Полковник знал по опыту, что у таких женщин, как его жена Софья Львовна, вслед за бурною, немножко пьяною веселостью *обыкновенно* наступает истерический смех и потом плач. Он боялся, что теперь, когда они приедут домой, ему, вместо того чтобы спать, придется возиться с компрессами и каплями» [Чехов 1986: 214].

Оба эти примера характеризуют повседневную жизнь и далеки от разрешения «вопроса жизни», о чем задумывается главная героиня.

Выделенность Софьи Львовны из системы персонажей подтверждается в плане грамматическом тем, что только по отношению к ней итератив передает устойчивые (ментальные и эмоциональные) состояния: «В последние два месяца <...> ее томила мысль, что она вышла за полковника Ягича по расчету» [ibid.]; «опять <...> забродили в голове мысли о боге и неизбежной смерти» [Чехов 1986: 221].

В финале, в трех последних абзацах, используются разные повествовательные техники. Первый из них написан сингулятивом, что не исключает неоднократности действий (2П – 2И). Троекратно употребленное слово «опять» фиксирует обыденность жизненных ситуаций и возвращение к вечным вопросам, которые остаются неразрешимыми: «А ночью *опять* катались на тройках и слушали цыган в загородном ресторане. И когда *опять* проезжали мимо монастыря, Софья Львовна вспоминала про Олю. И ей становилось жутко от мысли, что для девушек и женщин ее круга нет другого выхода, как не переставая кататься на тройках и лгать или же идти в монастырь, убивать плоть... А на другой день было свидание, и *опять* Софья Львовна ездила по городу одна на извозчике и вспоминала про тетю» [Op. cit.: 225].

Сингулятив в первом предложении предпоследнего абзаца завершает историю с адюльтером («Через неделю Володя маленький бросил ее») [ibid.], но это не конец рассказа. В сильной позиции – последнем абзаце текста – использован итератив, при этом обстоятельство со значением цикличности «почти каждый день» может быть отнесено к образу жизни и Софьи Львовны, и монахини: «Заезжая *почти каждый день* в монастырь, она [Софья Львовна] надоедала Оле, жаловалась ей на свои невыносимые страдания, плакала и при этом чувствовала, что в келью вместе с нею входило что-то нечистое, жалкое, поношенное, а Оля машинально, тоном заученного урока говорила ей, что все это ничего, все пройдет и бог простит» [ibid.].

По-другому взаимодействуют сингулятив и итератив в рассказе А.П. Чехова «Попрыгунья». О явлении повторяемости эпизодов в этом рассказе писал А. П. Чудаков. Не используя нарратологические подходы, Чудаков по существу дал описание итеративных сцен в рассказе (он

называет их «характеристическими эпизодами»), причем «характеристичность» сигнализируют слова «часто», «обыкновенно», «всякий раз», «всегда», «ежедневно» – те же слова, которые традиционно выступают знаками итератива. Таких эпизодов, «открыто квалифицированных повествователем в качестве характеристических» [Чудаков 1971: 145], исследователь насчитывает в романе более трети (по нашим подсчетам, итератива в «Попрыгунье» 14%). Отмечается также несоответствие между разнообразием описываемых эпизодов и «сигналами характеристичности» (знаками итератива).

Чудаков приводит множество примеров подобных несоответствий в рассказе «Попрыгунья». Вот один из них. «Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил: – Так-с... Это облако у вас кричит: оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то сжеван, и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит... надо бы угол этот потемнее взять. А в общем недурственно... Хвалю» [Чехов 1986: 12].

К этому и подобным эпизодам дается следующий комментарий: «Рябовский не всякий день говорил про облако и избушку; не за каждым обедом Ольга Ивановна упрекала Дымова в одинаковых выражениях в том, что он отрицает искусство. Михаил Аверьяныч не рассказывал, как маньяк, все одну и ту же историю про жену батальонного командира» [Чудаков 1971: 207]. С позиций интересующей нас проблемы здесь можно говорить о подчиненной роли сингулятивных вставок в составе итеративных фрагментов, тогда как в традиционном романе итератив подчинен сингулятиву.

В рассказе Чехова «Человек в футляре» характеристика Беликова дана исключительно в итеративе. Итератив сосредоточен в рамке и выступает в функции, близкой описанию. Три раза употребляется слово «всегда» – знак неограниченной повторяемости в итеративе [Князев 1989: 140]. «Он был замечателен тем, что *всегда*, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате <...> Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он *всегда* хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни <...> В разрешении же и позволении скрывался для него *всегда* элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное» [Чехов 1985в: 43].

Даже абсурд, переданный итеративом, представляется, в силу повторяемости, обязательным элементом жизни. Таково упоминание «повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного»:

«Этот Афанасий стоял *обыкновенно* у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом:

– Много уж *их* нынче развелось!» [Op. cit.: 45].

В рамочном обрамлении, которое в новелле XX века представляется уже архаической формой, сосредоточены оценки и суждения. История, рассказанная сингулятивом, содержит все признаки новеллистического события. Есть «неслыханное происшествие» («Kolossalische Skandal»), в наличии парадоксальное сюжетное ядро – «влюбленный антропос». Есть особенный, странный герой, которого немецкие исследователи называют Kauz, Sonderling. Присутствует деструктивный финал, который ничего, однако, не меняет в сознании персонажей и течении жизни.

В рассказе «Володя большой и Володя маленький», напротив, история с адюльтером многократно ослаблена параллельными итеративными фрагментами. В «Попрыгунье» «сингулятивные элементы» встроены в эпизоды, где преобладает итератив. Рассказанная сингулятивом история либо не составляет события, либо не имеет всех признаков события (прозрение Ольги Ивановны, как это показал Чудаков [Чудаков 1971: 215], – мнимое: она понимает только, что в поисках знаменитостей не заметила будущую знаменитость, с которой жила под одной крышей).

В повести «Скучная история» (1889) ритм повествования определяется далеко не всегда чередованием сингулятивных и итеративных фрагментов. В первых четырех главах доминирует итератив, в пятой и шестой – сингулятив. Преобладание итератива можно объяснить исходя из подзаголовка, обозначающего первичный речевой жанр, на который ориентировано произведение: «Скучная история. *Из записок старого человека*». Записки как первичный речевой жанр пишутся для себя, это фиксация повседневного опыта, размышления о пережитом. Так же и тексты, построенные на основе итеративных высказываний, «по своей интенции автокоммуникативны <...> коммуникативный акт сообщения кому-либо номотетических (законосообразных) обобщений по отношению к их референтному содержанию факультативен» [Тюпа 2001: 9]. Речь идет о том, что рассказ о повторяющихся событиях не может быть интересен собеседнику и не порождает коммуникативной ситуации.

В повести профессор медицины, Николай Степанович, знающий о своей смертельной болезни, в последние месяцы жизни пытается разрешить для себя бытийные вопросы – найти «общую идею». С главным героем не происходит ничего замечательного, напротив, он постоянно осознает рутинность существования. В терминах нарратологии такой опыт определяется как процессуальный – «опыт узнаваемого повторения ситуаций» [Тюпа 2016: 7], а не событийный.

Первая глава построена как цепочка итеративных эпизодов. Рассказ о бессоннице, которая «составляет теперь главную и основную черту <...> существования» [Чехов 1985а: 252], ведется итеративом с единственным

сингулярным сегментом: «Если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так, недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием «О чем пела ласточка» [Op. cit.: 254]. Итеративный эпизод – утренний разговор профессора с женой, где среди сигналов итератива преобладают слова со значением цикличности: «*всякий раз* говорит одно и то же» [ibid.]; «*каждое утро* одно и то же» [ibid.]; «*ежедневный* опыт мог бы убедить жену» [ibid.]. Итеративом передан и разговор с дочерью; знаком итератива выступает здесь слово «обыкновенно» со значением узуальности: «*Обыкновенно*, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал:

– Сливочный... фисташковый... лимонный...

И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый... сливочный... лимонный...» [Op. cit.: 256].

Итеративом дается рассказ о чтении лекций в университете. Здесь рассказчик два раза делает оговорку, отмечая вариативность некоторых ежедневных действий, что только подчеркивает повторяемость и регулярность всех остальных. «Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крикает и говорит:

– Мороз, ваше превосходительство!

Или же, если моя шуба мокрая, то:

– Дождик, ваше превосходительство!» [Op. cit.: 258].

«И мы шествуем в таком порядке: впереди идет Николай с препаратами или с атласами, за ним я, а за мною, скромно поникнув головою, шагает ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и т. д.» [Op. cit.: 261].

Вторую главу характеризует не только преобладание итеративного повествования, но и особый его характер. Визит коллеги, приход на дом к профессору студента, не сдавшего экзамен, докторанта, желающего получить тему диссертации, как отмечает и сам рассказчик, не обязательно являются приметой одного дня: «Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя» [Op. cit.: 268]. «Сингулятивная сцена у Пруста подвержена как бы заражению итеративом», – пишет Женетт [Женетт 1998: 147]. У Чехова наоборот: итеративная сцена подвержена «как бы заражению сингулятивом». Во втором случае исследователь говорит о весьма характерном присутствии того, что он называет «псевдоитеративом» – «сцен, поданных как итеративные, тогда как вследствие богатства и точности деталей никакой читатель не может всерьез поверить, чтобы они происходили несколько раз без каких-либо изменений» [ibid.]. Псевдоитератив Женетт понимает как «типичную фигуру нарративной риторики, которую не следует понимать буквально, а как раз наоборот: повествование, буквально

утверждающее: ”это происходило все время” следует понимать фигурально: “все время происходило нечто в этом роде, одной из реализаций которого является изображаемое событие”» [ibid.].

В повести Чехова в ряде эпизодов то, что происходило однажды, воспринимается как совершающееся постоянно. Очевидно, например, что приемная дочь профессора Катя не каждый день показывает Николаю Степановичу устроенный для него уютный кабинет и предлагает приходить и работать у нее. Не всегда жена и дочь после ухода Кати сетуют на то, что она пренебрегает ими и т. д. Псевдоитератив у Чехова функционально ничем не отличается от сингулятивных вставок, маркированных в тексте специально. Таков эпизод, где Николай Степанович расписывается в своей ненависти и презрении к жениху дочери Гнеккеру: «Увлечшись злым чувством, я *часто* (сигнал итератива со значением интервала. – Н.С.) говорю просто глупости и не знаю, зачем говорю их. Так случилось *однажды* (знак сингулятива. – Н.С.), я долго глядел с презрением на Гнеккера и ни с того ни с сего выпалил:

Орлам случается и ниже кур спускаться,

Но курам никогда до облак не подняться...» [Чехов 1985а: 296].

Бесконечная повторяемость ситуаций, разговоров создает эффект бесперспективности жизни, а история, рассказанная сингулятивом (поездка главного героя в Харьков), по существу ничего не меняет.

Отмечая особый характер «бессобытийности» в «Скучной истории», В. Я. Линков говорит по существу о ментальном событии. На вопрос: как же движется мысль героя и что она открывает – дается следующий ответ. Событие – это путь «от сознания героем противоречия между знаменитым именем и подлинной своей сущностью и открытия, что собственная семья стала чужой, до понимания, что нет и желания ее вернуть, и страха перед своим равнодушием» [Линков 1982: 62]. На наш взгляд, судить о наличии события в повести затруднительно ввиду того, что не установлены критерии разграничения «рефлексии ментальных процессов» – итеративного опыта и «рефлексии ментальных событий» – сингулярного опыта [Op. cit.: 7]. Увидеть в финале «неожиданную просветленность» [Op. cit.: 71] можно только не принимая во внимание заглавие повести «Скучная история». Е. Червинскене, отмечая, что слова «скучно», «скука», «скучный» в произведениях Чехова встречаются особенно часто, указывает и на их негативную коннотацию, сопряженную с отсутствием «высших целей» [Червинскене 1976: 116] («общая идея» у Чехова). В этом случае приходится говорить об открытом финале, и оказывается под вопросом такой обязательный признак события, как «фрактальность» – наличие начала и конца рассказываемого отрезка жизни. Особая же роль итератива в «Скучной истории», возможно, определяется тем, что мысли

об отсутствии «общей идеи» являются через осознание процессуальности жизни.

В рассказе «Скрипка Ротшильда» (1894) обращает на себя внимание достаточно четкая локализация сингулятивных и итеративных сцен.

Таблица. Сингулятив и итератив в рассказе А.П. Чехова «Скрипка Ротшильда»

Повествовательная техника	Элемент композиции	Акция
ИТЕРАТИВ [псевдоитератив] [сингулятив] [сингулятив]	Пролог	Ссора Якова Бронзы с Ротшильдом. Смерть полицейского надзирателя
СИНГУЛЯТИВ [итератив]	1-й эпизод	Болезнь Марфы
СИНГУЛЯТИВ	2-й эпизод	Поездка к фельдшеру
СИНГУЛЯТИВ	3-й эпизод	Изготовление гроба и смерть Марфы
СИНГУЛЯТИВ	4-й эпизод	Похороны
СИНГУЛЯТИВ [итератив]	5-й эпизод	Встреча с Ротшильдом после похорон
СИНГУЛЯТИВ	6-й эпизод	Яков на реке
СИНГУЛЯТИВ [итератив]	7-й эпизод	Ночь после похорон
СИНГУЛЯТИВ	8-й эпизод	Яков у фельдшера
СИНГУЛЯТИВ	9-й эпизод	Яков и Ротшильд. «Новая песня» Якова
СИНГУЛЯТИВ	10-й эпизод	Исповедь Якова
ИТЕРАТИВ	Эпилог	«Новая песня» Ротшильда

Таблица показывает, что история заключена в итеративную рамку: техника итератива использована в прологе и эпилоге. «История» состоит из десяти эпизодов, за критерий выделения эпизода принимается единство места, времени и персонажей. Итератив включает в себя сингулятивные вставки, сингулятив – итеративные.

В прологе рассказа говорится об условиях существования городка «в режиме обыкновения и повторения» [Женетт 1998: 145]; итератив выступает здесь в функции, близкой описательной. При этом ни пролог, ни эпилог не представлены в своем классическом виде.

Повествовательная техника с самого начала осложнена «двуголосостью» (М. М. Бахтин), что косвенно подтверждается включением обстоятельств итератива. Ю. К. Щеглов комментирует первую фразу рассказа: «В этом смысле подозрителен уже сам городок, где "жили почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно" (в царстве мертвых не умирают)» [Чехов 1986: 84]. Можно отметить и другие проявления «непрямого говорения». Понять, почему маленький городок «хуже деревни», а не меньше, можно только приняв во

внимание точку зрения Якова, который, хотя и «делал гробы хорошие, прочные» [Op. cit.: 290], занимает весьма скромную нишу в «нижнем мире» чеховских героев. В таком случае выражение «хуже деревни» синонимично фразеологизму «хуже некуда». По этой же причине недостоверно упоминание о том, что в городке «жили <...> почти одни только старики» [ibid.]. Это не подтверждается существованием еврейского оркестра, играющего исключительно на свадьбах («в городке на свадьбах играл *обыкновенно* жидовский оркестр») [ibid.]. Слово «обыкновенно» выступает здесь как маркер итератива, это обстоятельство узуальности, которое обозначает «эмпирически наблюдаемое, регулярное повторение ситуаций» [Храковский 1989: 21]. Отметим также выражение: «старики <...> умирали *так редко*, что даже досадно» [Чехов 1986: 290]. Обстоятельства интервала в норме устанавливаются частотностью ситуации по отношению к некоторой условной норме («часто» – интервал ниже нормы; «редко» – выше нормы) [Храковский 1989: 21]. В данном случае попытка установить норму смертей для городка, в котором жили «почти одни только старики», выглядит абсурдной, если только это не «голос» самого Якова.

Также итеративом переданы в прологе другие обстоятельства жизни главного героя. «Яков делал гробы хорошие, прочные» [Чехов 1986: 290] (итератив передается глаголом несовершенного вида прошедшего времени). «Шахкес *иногда* приглашал его в оркестр с платою по пятьдесят копеек в день» [Ibid] (дополнительный знак итератива – обстоятельство интервала «иногда»). «Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо...» [Ibid]. Значение множественности передается здесь кратнo-соотносительными конструкциями в форме сложноподчиненного предложения с временными придаточными [Храковский 1989: 22].

Пролог «Скрипки Ротшильда», как и прологи классических романов, представляет собой «символическую зону *par excellence*» [Щеглов 1996: 164]. Ю. К. Щеглов в качестве двух главных символов рассказа называет скрипку и гроб [Щеглов 1994: 86]. Однако итератив, который передает «устойчивые (ментальные и эмоциональные) состояния» [Храковский 1989: 20], уже в прологе способствует формированию параллельных символов «убытки» и «скрипка».

«Мысли об *убытках* донимали Якова особенно по ночам; он клал рядом с собой на постели *скрипку* и, когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны, *скрипка* в темноте издавала звук, и ему становилось легче» [Чехов 1986: 291]. Та же соположенность «убытков» и «скрипки» отмечается в тексте постоянно.

«...Когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои *убытки*, и от скуки стал подводить годовой итог» [Чехов 1986: 291] / «Яков весь день играл на *скрипке*» [ibid.].

«Вечером и ночью мерещились ему младенец, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про *убытки*» [Чехов 1986: 297] / «Он ворочался с боку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на *скрипке*» [ibid.].

«Думая о пропащей, *убыточной* жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам» [Чехов 1986: 298] / «И чем крепче он думал, тем печальнее пела *скрипка*» [ibid.].

Во всех случаях в подтексте остается парадоксальное несоответствие ментального и эмоционального состояний героя, переданных итеративом и, значит, имеющих длительный характер.

Ю. К. Щеглов в качестве одного из символов рассказа приводит «фразу-гримасу», «фразу-девиз», из числа тех, что у Чехова служат «обычным признаком выхолощенного, автоматизированного состояния» [Щеглов 1994: 82]. «Признаться, не люблю заниматься чепухой», – произносит Яков, выдавая заказчикам детские гробы. Здесь «выражено утомленно-неразличающее отношение <...> к детям как к объектам рутинным, в массовом количестве прошедшим через руки Бронзы за годы косности и душевного сна» [ibid.]. В данном случае Чехов использует технику псевдоитератива. Очевидно, что Бронза не каждый раз произносил одну и ту же фразу, отдавая детские гробы, однако использованием псевдоитератива достигается эффект репликации и, тем самым, символизации.

Пролог включает два сингулятивных сегмента, это тот случай, когда «сингулятивная сцена с иллюстративной функцией подчинена некоторому итеративному развертыванию» [Женетт 1998: 166]. Ссора Ротшильда и Якова Бронзы («...и раз даже хотел побить его» [Чехов 1986: 291]) подтверждает антисемитизм гробовщика; история со смертью полицейского надзирателя, который «уехал в губернский город лечиться и взял да там и умер» [ibid.], упомянута как пример «убытков». Что касается роли названных эпизодов в сюжете, то они подтверждают правило, сформулированное И. П. Смирновым для коротких нарративов: «Акция, характерная для новеллы, не может быть повторена одним и тем же персонажем с разными итогами» [Смирнов 1993: 6]. Две ссоры Якова с евреем-музыкантом заканчиваются одинаково: «хотел побить его» [Чехов 1986: 291] / «бросился на него с кулаками» [Op. cit.: 295]. Рассказ о несостоявшихся заказах на изготовление гробов (сначала для умершего полицейского надзирателя, потом – для умершей жены) завершается подсчетом убытков. «Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб пришлось бы делать дорогой, с газетом» [Op. cit.: 291]. «Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку: «Марфе Ивановой гроб – 2 р. 40 к.» [Op. cit.: 294]. Созданию

редукционистской картины мира способствует, таким образом, внедрение сингулятивных вставок в пролог.

История смерти Марфы и духовного воскресения Бронзы (1-10-й эпизоды) передана сингулятивом и имеет определенную временную точку отсчета: «Шестого мая прошлого года Марфа вдруг занемогла» [Ор. cit.: 291]. «Поворотом и катарсисом» выступает «решительный сдвиг в сторону обретения утраченной личности и востребования морального существа» [Щеглов 1994: 91]. При этом воспоминания о жизни с Марфой, приведшие к осознанию вины перед ней, переданы в технике итератива. Это так называемые «внешние, или обобщающие, итерации»; «итератив как бы открывает окно во внешнюю длительность повествования» [Женетт 1998: 145]. В этом случае время, которое представлено в итеративных сегментах, шире, чем время истории.

1-й эпизод.

«Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, *что за всю жизнь* он, кажется, *ни разу не приласкал* ее, *не пожалел*, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха» [Чехов 1986: 292].

5-й эпизод.

«Вспомнилось опять, *что за всю свою жизнь* он *ни разу не пожалел* Марфы, *не приласкал* <...> А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать, и все это молча, с робким, заботливым выражением» [Ор. cit.: 295].

Эффект повторяемости усиливается за счет лексических эквивалентностей:

«что за всю свою жизнь он <...> ни разу не приласкал ее, не пожалел» / что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал».

В обоих примерах итератив, передающий действия, регулярно совершаемые, маркирован обстоятельством цикличности «всякий раз», а действия не совершаемые («ни разу» не приласкал, не пожалел, не догадался) – обстоятельством всеобщности «за всю жизнь». Глаголы совершенного вида используются, таким образом, в итеративной функции, фиксируя привычность отсутствия эмоционального отклика на постоянную заботу Марфы.

В седьмом эпизоде знаком итератива выступает счетный комплекс «раз пять»: «Он ворочался с боку на бок и *раз пять* вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке» [Ор. cit.: 297]. Эффект приблизительного счета достигается постановкой количественного числительного после

существительного и передает полубредовое состояние Якова, нечетко воспринимающего происходящее.

Загадочным выглядит эпилог рассказа, где сцена кульминации (Яков и Ротшильд вместе плачут о скорбях человеческого существования) многократно репродуцируется.

Рассматривая типичный эпилог чеховских новелл последнего периода, Щеглов определяет его как «картину жизни, остановившейся в своем развитии и вышедшей на путь циклических повторений (такой финал имеют, помимо «Ионыча», «Анна на шее», «Учитель словесности», «Володя большой и Володя маленький», «Три года», «Моя жизнь», «Скрипка Ротшильда», «Душечка» и др.)» [Щеглов 2012: 238].

В эпилоге дается обычно «изображение событий и дальнейших судеб героев после завершения развязки и разрешения основного конфликта произведения» [Юртаева 2008: 309]. Однако в «Скрипке Ротшильда» эпилог тесно связан с историей, продолжает, но не завершает ее, поскольку итеративом переданная в эпилоге сцена воспроизводит кульминацию рассказа с частичной заменой действующих лиц («купцы и чиновники» вместо Якова).

9-й эпизод.

«Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он *закатил глаза*, как бы испытывая мучительный восторг, и *проговорил*: «Ваххх!..» [Чехов 1986: 298].

Эпилог.

«...Но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут, и сам он под конец *закатывает глаза и говорит*: «Ваххх!..» [Ор. cit.: 299].

Замену сингулятива итеративом иллюстрируют лексические эквивалентности: «*закатил глаза*» / «*закатывает глаза*»; «*проговорил*: «Ваххх!..»» / «*говорит*: «Ваххх!..»»

Эффект «дурной завершенности» жизни [Щеглов 2012: 207] усиливается использованием счетного комплекса «по десяти раз» в сильной позиции текста: «И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе наперерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее *по десяти раз*» [Чехов 1986: 299] (выражения типа «10 раз», «100 раз», «1000 раз», включающие число, кратное десяти, имеют общее значение «неопределенно большое количество ситуаций») [Храковский 1998: 51].

Переданная итеративом в эпилоге сцена ставит под сомнение «неслыханность» самой истории: как заметил Женетт, «повторяемое событие» есть «в некотором смысле отсутствие события» [Женетт 1998: 152]. В этом случае эпилог подтверждает, что российская

действительность конца XIX века предстает в «Скрипке Ротшильда» как вышедшая на путь бесконечных повторений и «не предполагающая неожиданностей» [Щеглов 1994: 92].

Картина итератива в рассказе Чехова «Анна на шее» (1895), по меркам Женетта, представляется приближенной к модернистским текстам. «Анна на шее» начинается с ряда сингулятивных эпизодов: проводы на платформе молодых, Анна и Модест Алексеич в купе поезда, сцена на полустанке. Однако уже здесь сингулятив «заражен» итеративом: им передан краткий рассказ о прежней жизни героини: «А по ночам слезы и неотвязчивая, беспокойная мысль, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость и что он не перенесет этого и тоже умрет, как мать» [Чехов 1985б: 163]. Здесь итеративный сегмент подчинен сингулятивным сценам, мотивируя причины неравного брака.

Начиная с предложения «Жили они на казенной квартире» и вплоть до конца первой главы повествование ведется итеративом. Итеративный характер повествования «поддерживается действительно повторяющимся и рутинным образом жизни» [Женетт 1998: 149], в данном случае – чиновничьей. В первое время замужества жизнь Анны подчиняется «дурной повторяемости», которая свойственна существованию ее мужа. Во всех этих ситуациях представлены тождественные наборы актантов. Присутствие мужа в жизни Ани обозначено во всех темпорально маркированных сценах: «Когда Модест Алексеич уходил на службу, Аня играла на рояле, или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы, рассматривала модный журнал» [Чехов 1985б: 164] (здесь и далее сохранена пунктуация источника – Н.С.). «За обедом Модест Алексеич ел очень много и говорил...» [ibid.] – темы его речей выдают кругозор и амбиции чиновника, человека со средствами. «После обеда муж отдыхал и громко храпел...» [Op. cit.: 165]. «По вечерам муж Анны играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в казенном доме» [ibid.]. Повторяемость в жизни обозначается итеративными обстоятельствами цикличности: «за обедом», «после обеда», «по вечерам». Предложение с обстоятельством цикличности получает итеративное значение, поскольку «ситуация, обозначаемая в предложении, соотносится с каждым из повторяющихся периодов времени» [Храковский 1998: 41-42].

Семья Ани, отец и мальчики, тоже подчиняется определенному укладу жизни. Но Петр Леонтьич – натура нервная, художественная, и отсутствие в жизни его семьи «застойности» подтверждается вариативностью циклических повторений. «После обеда *обыкновенно* он наряжался; бледный, с порезанным от бритья подбородком, вытягивая тощую шею, он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причесываясь, то закручивая свои черные усы, прыскался духами, завязывал бантом галстук, потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частные уроки. А если был праздник, то он оставался дома и писал

красками или играл на фисгармонии, которая шипела и рычала; он старался выдавить из нее стройные, гармоничные звуки и подпевал, или же сердился на мальчиков: Мерзавцы! Негодяи! Испортили инструмент!» [Чехов 1985б: 165]. Повторное употребление в рассказе обстоятельства «после обеда» показывает, что Аня на этот момент вписана и в тот, и в другой циклический круг. «Став "блестящей", дорогой, ценимой окружающими вещь, героиня теряет человечность» [Степанов 2005: 100]. Чеховеды говорят в этом случае о «падении» [Цилевич 1976: 230], «отпадении от нормы» [Химич 2005: 55], гибели души [Кройчик 1986: 102].

Итеративизация повествования проявляется и в использовании обстоятельства узитативности «обыкновенно», которое обозначает «относительно регулярное повторение ситуаций, характеризующееся как некоторая эмпирически наблюдаемая вероятностная закономерность» [Храковский 1989: 42]. В рассказе оно встречается три раза: «А Аня слушала его, боялась и не могла есть, и *обыкновенно* вставала из-за стола голодной» [Чехов 1985б: 164]; «После обеда *обыкновенно* он наряжался...» [Ор. cit.: 165]; «И мальчики, приходившие к Ане в гости, *обыкновенно* в рваных сапогах и поношенных брюках, тоже должны были выслушивать наставления» [Ор. cit.: 167].

Воспоминания о покойной матери во второй главе переданы итеративом, близким к функции описания; нравственный портрет матери Ани создается аккумуляцией итеративных черт. «Ее покойная мать сама одевалась *всегда* по последней моде и *всегда* возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу...» [Ор. cit.: 168]. При использовании обстоятельственного слова «всегда» повторение ситуации «не ограничено временными рамками» [Ор. cit.: 165]; особая приверженность матери Ани моде подтверждает ее французское происхождение [Семенова 2020: 42-43]. В том же значении обстоятельство «всегда» фигурирует в воспоминаниях героини о семье и детских страхах, связанных с разного рода «силами»: «Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой, надвигающейся как туча или локомотив, готовый задавить, ей *всегда* представлялся директор гимназии...» [Чехов 1985б: 166]. Если принять во внимание, что итеративом среди прочего изображаются устойчивые ментальные и эмоциональные состояния, это проливает дополнительный свет на характер героини.

Обстоятельство «всегда» возникает и в итеративной вставке в сцене бала: «Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался, и при этом жевал губами, что делал он *всегда*, когда видел хорошеньких женщин» [Ор. cit.: 170]. Направление мыслей его сиятельства получает в этом случае объяснение: «М-да... Нужно назначить вам премию за красоту... как в Америке... М-да... Американцы...» [ibid.]. А. П. Чудаков, ссылаясь на приведенный пример, отмечает в «Ане на шее» «бессмысленные фразы в речи князя» [Чудаков

1971: 191], но можно предположить здесь отголоски «Конкурса красоты», прошедшего в США в 1880 году («Анна на шее» написана в 1895 году).

Особую функцию выполняет в рассказе глагольная форма «случалось», синонимичная аналитической конструкции с итеративным значением «бывало»: «*Случалось*, что Модест Алексеич ходил с Аней в театр» [Чехов 1985б: 165]. Слово «случалось» в данном контексте выражает «нерегулярную повторяемость в прошлом, причем ранее основной линии повествования» [Князев 1989: 143]. Театр, как карнавальное пространство, может быть «местом встречи и контакта разнородных людей» [Бахтин 2002: 145], поэтому в театр Модест Алексеич ходит не часто и не отпускает там жену от себя «ни на шаг». Этот эпизод, как и эпизод с посещением «своих» и обедом на квартире мужа, представляет собой «псевдоитератив». Очевидно, что не всякий раз Модест Алексеич в театральном буфете «брал грушу, мял ее пальцами и спрашивал нерешительно: “Сколько стоит?”» [Чехов 1985б: 166], а узнав о цене, клал грушу на место и выпивал бутылку сельтерской воды. Не всякий раз за обедом он, «держа нож в кулаке, как меч <...> говорил: “Каждый человек должен иметь свои обязанности!”» [Чехов 1985б: 164] и т. д.

Описание бала, за исключением одного случая итерации, выполнено сингулятивом. Сцена бала занимает почти треть рассказа, и это дало основание исследователям говорить о композиционной «аритмии» [Кройчик 1986: 153]. Однако если исходить из того, что ритм повествования выстраивается на чередовании итератива и сингулятива, то аритмии здесь нет. Такой тип повествования характерен для литературы модернизма.

Чудаков пишет, что, за исключением визита Модеста Алексеича к его сиятельству, «дальнейшие события жизни героини, данные в обобщенном изложении <...> занимают всего около двадцати строк» [Чудаков 1971: 203]. Примечательно здесь упоминание об «обобщенном изложении», что соответствует «итеративному письму».

Итеративный эпилог маркирован комплексным обстоятельством цикличности «каждый день под утро»: «Возвращалась она домой *каждый день под утро* и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами» [Чехов 1985б: 172]. Трижды употребленная в финале усилительная частица «всё» создает дополнительную экспрессию, в норме эпилогу не свойственную: «А Аня *всё* каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала, и *всё* реже и реже бывала у своих» <...> Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и *всё* следили за ним, чтобы он не упал» [Op. cit.: 173].

О концовках этого типа Ю. К. Щеглов заметил, что они «всегда снабжены указаниями на их повторяемость и передаются в формах

обыкновения (обычно в настоящем, реже в прошедшем несовершенного времени» [Щеглов 2012: 238].

Центральный эпизод, перевернувший жизнь героини и завершившийся репликой-пуантом: «Подите прочь, болван!», – в записных книжках Чехова обозначен как финал истории [Полоцкая 1985: 487]. Однако дописанный эпилог «гасит» событие: более значимым оказывается не «изменение жизненной ситуации», а «повторение одной и той же ситуации» [Шмид 2003: 245]. И этой «потребностью повторения» определяется место итератива в «Анне на шее».

ГЛАВА 8. ЦИФРОВОЙ ДИСКУРС: ПРАГМАТИКА, РИТОРИКА, СТИЛИСТИКА

В главе рассматриваются прагма-семантические характеристики современного цифрового дискурса, проникающего во все сферы коммуникации, которые ранее обслуживались традиционными формами письма. Показаны принципиальные отличия цифровой коммуникации в образовании, рекламе, PR, политике, искусстве. Описаны существенные трансформации, произошедшие с коммуникацией как формой деятельности – появление сетевого дискурса, анонимизация субъектов дискурсивной деятельности и т.д.

Ключевые слова: прагматика, риторика, цифровой дискурс, сетевые сообщества, современная коммуникация.

В конце двадцатого века общение начало стремительно цифровизироваться. Меняется представление о самом субстрате коммуникации – тексте. Ранее теория коммуникации обращалась к общению в текстовой форме, к выполнению языком своих функций в тексте [Филиппов 2003]. Но понимание текста сегодня отличается от представления о когерентно и когезивно связанных между собой предложениях. Во-первых, здесь сказываются художественные практики абсурда, нонсенса. Во-вторых, на характер текстуальности влияют мультимедийность и визуализационные практики [Bühl 2000], [Kroker, Weinstein 2001].

Наши постоянные раздумья вызывает и то, как изменилось понятие гипертекста и сверхтекста в искусстве, как компьютерная среда влияет на понимание этого феномена. Для этого проводился и проводится анализ художественных практик, практик музейных институций и интерпретаций современного текста искусства.

На наших глазах произошла цифровизация галерей, хранилищ, лекций, бесед, опыта художников, журнальных и монографических публикаций. В чередѣ фигур, объясняющих искусство, занимает значительное место сам художник (пример – активная искусствоведческая практика, аутопоэтика Д. Гудова). Показательно появление в творчестве новых тем: миграция населения земли, экология, гендерная идентичность, искусственный интеллект и многое другое. Произошла интернационализация дискурса. Возникло искусство, создаваемое в цифровой среде (видеоарт, медиаискусство, виртуальное искусство, мультимедиа и компьютерное искусство; видеоинсталляция, нет-арт). Показательно смешение техник старых и новых. Произведения программы «Искусство будущего» структурированы по системе тэгов: веб-проекты, видеоигры, дополненная реальность, мобильные приложения, нейросети и др.

Произошло расширение понятия «искусство». Характерным стало изменение отношения к диалогу искусств со зрителем: появление «совместного искусства», в котором арт-объекты направлены на прямое взаимодействие со зрителем. Дискурс создается средствами визуализации, перформанса, вербализации. Устанавливается баланс визуального, вербального, перформансного в современном арт-дискурсе. Современное искусство – не только и не сколько картины, сколько практики, порождающие художественность на многообразных материалах: арт-объекты, перформансы, инсталляции, техники, связанные с цифрой, виртуальные объекты:

https://artforthefuture.art/2021/online_projects/index.php?lang=ru

Показательно появление в России центров и музеев современного искусства, наличие премий, президентских программ, лекций, конференций. Показательно, что этими и другими институциями стимулируется кураторская и искусствоведческая практика, поскольку современное искусство требует истолкователей.

В формировании художественного дискурса участвуют ресурсы библиотек, музеев, лекториев, книжных магазинов, журнальная продукция и блоги по актуальному искусству. Показательно наличие цифровых образовательных платформ, например, Третьяковка онлайн:

<https://www.tretyakovgallery.ru/lavrus/>

Ключевую роль начинают играть программы по воспитанию зрителя, активизируется просветительская деятельность, цель которой, в том числе – познакомить зрителя, слушателя и читателя с ландшафтом современного искусства, ключевые фигуры которого («позывные дискурса»): Бойс, Фрейд, Херст, Капур, а также представители феминистского искусства Ева Гессе, Гего, Луиз Невельсон, Кики Смит, Луиз Буржуа....

Культурные индустрии проникают и в сетевую среду. Маркетинг современного искусства – это возможность торговать билетами, каталогами, сувенирами, созданными на основе произведений искусства. В сети размещаются каталоги продукции; показательна разработка собственного бренда art-inspired gifts:

<https://store.metmuseum.org/catalog/digital-catalog>

Итак, современный мультимодальный гипертекст – это особенный феномен. Перед нами поставлен вопрос: как анализировать «человека говорящего» в Сети, производящего эти тексты? Имеем ли мы методологию анализа «цифровой» языковой личности, ее проявлений в политическом, деловом, медийном и художественном дискурсах? Это, в общем-то, старая, почти библейская проблема, проблема понимания человека человеком. Но – на новом материале. К счастью, уже разработаны некоторые методологические подходы к трактовке образа автора дискурса, языковой личности автора в цифровой среде.

Первое, что бросается в глаза в сетевом дискурсе – своеобразие текста и своеобразие языка в сетевом дискурсе. О языке сетей есть немало работ [Асмус 2005], [Калашникова 2011], [Социальные сети 2021], [Язык и речь в Интернете 2019], [Язык и речь в Интернете 2020]. Стиль электронного текста своеобразен и отличается от стиля печатного текста. Даже в простейших текстах мы видим средства языковой экономии (в SMS-сообщениях). Показательными характеристиками таких текстов являются краткость, ожидание незамедлительного ответа, неформальный характер сообщений, пренебрежение ошибками и допущение творчества в способах сокращения информации. Читателю в глаза сразу бросаются одновременно безграмотность и стремление к словотворчеству. Говоря о сокращениях на уровне слова, отметим, что при его написании часто используются лишь согласные, лишь начальные буквы слов; характерно использование нескольких первых букв слова, первых и последних, использование цифр, звучащих как определенное сочетание букв, использование небуквенных символов, отражающих смысл слова, использование букв (их алфавитного чтения) вместо слов с аналогичным звучанием (*www http, жжж, КГ / АМ, ИМХО*). Возможна фонетизация письма. Характерно изобилие неологизмов, общего жаргона типа *хай, лук, фэшн-блогер, кликбейт*. Адресаты блогов задаются вопросами, надо ли обижаться на *ПАМАГИТЕ, ВАЩЕ?*

Используя материал из Интернет, исследователи занимаются изучением графики и эмотиконов, анализируют феномен нарочитой (буквально показной) неграмотности авторов интернет-текстов (вплоть до фонетизации письма), особую разговорность, сниженность используемой ими лексики, агрессивность (прежде всего инвективность), оценочность интернет-сообщений, публичность частного. Итак, перед нами новый язык – и не устного, и не письменного общения. Кроме того, в анализе интернет-коммуникации следует учитывать ресурсы, обеспечивающие визуализацию, креолизацию дискурса.

При этом современные лингвистические исследования, учитывающие цифровизацию современной коммуникации, могут иметь разные объекты, а именно:

- язык как системно-структурное образование;
- языковая личность, представленная автором и реципиентом (их мышление, сознание, деятельность, намерения и т.д.);
- текст и дискурс (текст как отпечаток дискурса – речи в конкретных общественно-политических условиях);
- социальные группы (и присущие им вербализованные ценности, типичная текстовая деятельность);
- паралингвистические объекты (дизайн, кинесика);
- «нефилологические» объекты, поддающиеся дискурсии (политика, этика, культура) [Rheingold 1993].

Языковая личность в филологической герменевтике понимается и как носитель (группа), и как языковая способность носителя языка, и как совокупность текстов и способность к их пониманию, и как словарная языковая личность (лексикон). Это любой конкретный носитель того или иного языка-культуры, охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов с точки зрения специфики использования в этих текстах системных строевых средств данного языка, служащих целям отражения и оценки им окружающей действительности (картины мира), а также достижения определенных целей в этом мире. Языковая личность определяется и как комплексный способ описания языковой способности индивида, соединяющий в себе системное представление языка с функционированием его в процессе порождения текстов. Это новый уровень языковедческих исследований, где задействованы психолингвистика, психология речи, когнитивная психология, лингвокультурология, лингводидактика, философия языка. На основе анализа реализации человеком языковой способности, т.е. употребления языка («как говорит и что говорит»), можно получать выводное знание о личности как об индивидууме и авторе произведенных им текстов, то есть, как о типе.

При этом показательна комплексность подхода: язык предстает не односторонне, а во всех своих ипостасях одновременно – и как система, и как текст, и как способность.

Исходя из вышеизложенного, можно рассмотреть на статистически достоверном материале типичное вербальное поведение «цифрового» коммуниканта, дать его стилистическую характеристику и охарактеризовать условия сами коммуникации.

Кроме анализа самих постов (интернет-текстов), ценным представляется возможность использования интеракции, опоры на практику комментирования постов различными, часто совершенно сторонними, участниками коммуникации (краудсорсинг). Многоголосие комментов воспринимается в сегодняшних условиях как разноголосица толпы на античном форуме.

Еще одно возможное направление исследований цифровой коммуникации – анализ прагматически маркированных текстов коммерческого и некоммерческого пиара. Чтение блогов на сайтах цифровых СМИ заставляет задуматься о новой и очень важной фигуре современности – фигуре просьюмера («профессионального потребителя»). Контент, генерируемый пользователями (UGC), повсеместно модерируется на сайтах онлайн-СМИ. Девиз сервисов нового поколения — социальность и мобильность. Стираются различия между потребителями информации и ее авторами. Блог-платформы, их доступность сделала публикацию в сети обычным делом. Контент, генерируемый пользователями, имеет свои риторические лингвистические особенности.

Входит в моду интерактивность: комментирование событий, создание групп пользователей. Интерактивность обеспечивается возможностью мобильного доступа с любого устройства, имеющего выход в Интернет. Некоторым функционалом становится удобнее пользоваться онлайн. Современные технологии переселяют потребителей в сеть Интернет.

Очевидно, что исследование сетевой коммуникации должно диктоваться своей логикой, отвечающей на вопросы: как, что и зачем? На начальном этапе это – исследования особенностей языка общения в сети, когда исследователя привлекает изучение самой фактуры речи. Это не письменная, но и не устная речь («сквозь экраны доносится стихия устной речи»). Это речь, предъявленная публично. На этом уровне внимание исследователя не могут не привлекать особенности лексики, графики, сленга, особенности грамматики языка, используемого для коммуникации. По мнению Н. Б. Мечковской, одной из первых описавшей эти языковые процессы, они отражают тенденцию к усложнению языков в сочетании с внешней (стилистической) демократичностью общения [Мечковская 2009]. Глубинное усложнение такого общения обусловлено возрастанием интеллектуально-семиотической насыщенности жизни, возможностью для текста мгновенно преодолевать расстояния, трансграничной доставкой сообщений, повсеместным изучением и применением «новой латыни» – базового английского, смешением кириллического и латинского кодов, тенденцией к интерактивности и коммуникативному взаимодействию отправителя и получателя сообщений, мультимедийности и креолизованности такой коммуникации, возможностью длительного сохранения носителей такого общения, публичного их показа, архивирования. Научной рефлексии подлежат особенности языковой игры: привлекает внимание «язык падонкаф», представляющий игровую фонетизацию письма и считающийся вершиной метаязыковой рефлексии, а также применение иконических значков и креолизация цифрового дискурса.

Созданы словари новых вариантов языка: списки-словари компьютерных символов, клишированных фраз (типа ИМХО), компьютерного сленга – комбинирующего сленг молодёжи и IT-профессионалов. Выяснено, что от нормативного языка язык сетей отличается весьма значительно, он характеризуется пренебрежением к нормативности, установлением своих узурпаторских норм. Всем этим интересным исследованиям языковой ткани можно поставить такой упрек: несмотря на то, что коммуниканты весьма успешно справляются с коммуникацией в таких условиях, составлять словари ненормативного языка – занятие для лингвиста бесперспективное. В одном американском учебнике по психиатрии было хорошо сказано: «Затруднения с орфографией не препятствуют жизненному успеху». Бесперспективно говорить о «повышении культуры речи в Сети», мечтать о регулировании

всего и вся. Это свободное коммуникативное пространство. Оно тем и славится. На наш взгляд, такие работы актуальны лишь для этнографии коммуникации и лингводидактики. Прекрасно, что изучается живой язык, язык, употребляемый носителями в столь новой сфере как текстинг. Структурные особенности сокращений, особенности сленговых словечек для науки о языке дают мало.

Показательны аббревиация, акронимия, иконичность письма, наличие молодежного и компьютерного сленга. Языковая ткань такого общения отражает тенденцию к экономии средств общения, тенденцию к моде, тенденцию к криптографии (что свойственно для любой системы арга). По нашей логике, на втором этапе исследований сетевой коммуникации интерес должны вызывать особенности интеракции, дискурса коммуникантов. Уже при первых исследованиях общения в сети проводились наблюдения над характером коммуникации в ней (ироничность, агрессивность, аддикция, безграничные игровые возможности при анонимности масок и т. д.).

Выявлено, что коммуниканты в Сети часто испытывают психологические проблемы, мешающие им реально общаться вне сети. Их сетевая коммуникация отражает их личностные свойства и интересы. Эта коммуникация оказалась весьма агрессивна, лишена рефлексивности. Для нее характерно такое явление, описанное социологами еще в конце прошлого века, как социальный солипсизм. Общение в исследованиях сетевой коммуникации предстаёт не как лингвистический, а как психологический, социологический феномен. Это общение лично-публичного характера, для которого характерны анонимность, безнаказанность, карнавализация, бесчисленные легкие возможности самопрезентации.

Ввиду социальной значимости этих явлений рассмотрению в современных исследованиях сетевой коммуникации подвергаются феномены флудинга, флейминга, буллинга. Это очень показательный материал: все, что «таилось за строгими фасадами римских палаццо» (так изящно в свое время П. Б. Ганнушкин писал о характерах психопатов и акцентуантов) вышло в Сеть. В этом отношении сетевая коммуникация – прекрасный полевой материал для психологов. Для лингвиста здесь интересны тактики оскорбления, оценки – прямые и не прямые. В лингвистике изучение оценки в дискурсе имеет почтенную историю (Е. М. Вольф и др.). Итак, в сетевой коммуникации проявляются психологические настроения и установки – агрессия, депрессия, обсессивно-компульсивная потребность в коммуникации, Интернет-зависимость, буллинг (может быть и не кибер-), харассмент (может быть и не кибер-). Показательно, что среди пишущих о буллинге в сети есть специалисты по подростковой преступности, криминологи, педагоги. Коммуникация в сети, буллинг – прежде всего предмет интереса

психологов. Такие исследования важны для детской и подростковой психологии. Исследуя данные сетевые феномены, ученые могут разработать меры по защите и формированию личности подростка, хотя, к сожалению, в подобных исследованиях в качестве рекомендаций высказываются прежде всего рекомендации к родителям, которым советуют лишь уметь вовремя нажать на кнопку «СТОП».

Третий уровень исследований представляет собой исследование процессов масс-медийной коммуникации. Сети, сетевой дискурс представляют собой расширение возможностей конкретного человека по достижению и коммуникативному приобщению к разнообразным дискурсам. Произошла виртуализация различных областей человеческого общежития, общественного сознания – в сети есть возможности коммуникации разнообразных целевых аудиторий: философов, историков оружия, представителей новых религиозных течений, домохозяек, готовящих шарики, маргиналов, носителей другой идентичности. Так, некая современная писательница заявляет, что имеет «шкурный интерес» – посещает форумы больных шизофренией и их родственников (очевидно, форумы поддержки семей больных), изучает шизофренический дискурс, а затем выплёскивает всё это на страницы своих книг. Причем, этот опыт у нее чисто виртуален, с реальными больными она дела не имеет. В сетях появились дискурсы, которые ранее не имели письменной фиксации или были недоступны. Здесь мы являемся свидетелями расширения текстовой сферы культуры. Кроме того, современная масс-медийная среда, на наших глазах становящаяся цифровой экранной культурой, становится полем таких видов массовой коммуникации, как журналистика, пиар, массовая политическая коммуникация и реклама, сетература.

Особенно интересно, что сеть представляет дискурсы, которые ранее считались маргинальными, а многие маргинальными остаются и ныне. Иногда среди них встречаются даже те, что попадают под запрет – экстремизм и т.д. Так, мы в течение нескольких лет наблюдаем сетевой дискурс альтернативных правых в США – ультрайтистов. Новые феномены современной интеллектуальной среды – постправда и фейк, которые стали продуктами интернетизации политики, эклектизации идеологий, риторизма политических выступлений, процветания конспирологических теорий. Многочисленные советы, как распознать фейк, призывают нас проверять источник сообщения, читать всё сообщение, а не заголовок, проверять реальность авторов, проверять источники в статье, смотреть на дату публикации, спрашивать себя, нет ли элементов сатиры и полемического заострения в публикации, нет ли элементов шутки и мистификации, рефлексировать по поводу своей предвзятости, запрашивать экспертное мнение. Показательно состояние общественного сознания, в котором существенную роль играет политический постмодернизм и удивительная архаика в политической

культуре в ответ на крах либеральной идеологии. Еще раз должна быть подчеркнута роль Интернета и социальных сетей в политической культуре. Очевидно, что политика постправды представляет в современных условиях политику пропаганды. Что касается фейк-ньюз в социальных сетях, то их нужно маркировать. Отметим роль, которая придается социальным сетям в коммуникации политика, особенно с неортодоксальными, далекими от мейнстрима взглядами. Право на пропаганду своих взглядов приходит в столкновение с правом на свободу слова. Приведем еще один пример исследований коммуникации на уровне сетевого медиадискурса: мейнстримовый медиадискурс в его связи с реципиентом. Новизна исследований обусловлена в значительной мере новизной материала и объекта, а актуальность диктуется поиском описания и объяснения языковой и – шире – дискурсивной реальности Интернета. Мы прекрасно знаем, что тексты – как традиционных газет, так и электронные медиатексты, – различаются по гендерным, социальным, профессионально-тематическим параметрам своей аудитории. Иногда возникают случаи, когда эти параметры не учитываются создателями контента.

Рассмотренный в нашей работе материал позволяет сделать нам следующие предварительные выводы. В сетях существуют объекты для научной рефлексии представителей нескольких наук. Социально приоритетны рассуждения психологов и педагогов. Значимы в коммерческом отношении работы исследователей массовой коммуникации, социологии, ИТ, нейронауки. Лингвистика может помочь зафиксировать изменения языка и констатировать новые виды дискурсов, посмотреть на некоторые речевые особенности с прагматической точки зрения. Интересы социума отражают его поведение в сетях. И если кому-то думалось, что все будут обсуждать романы Тургенева или читать классику русского зарубежья в Сети или слушать Гайдна – то нет... Этого закономерно не произошло. В сети пришел прежде всего агрессивный юзер, и для него это средство промотирования своего контента, коммуникации для бизнеса, актуальной политической мобилизации, усвоения маргинальных дискурсов и буллинга.

Как же типологизировать все многообразие сетевых дискурсов? Эти размышления выводят исследователей к принципам типологизации и к самой типологии.

Роль сетевой коммуникации невозможно, да и не нужно оценивать однозначно. Люди вступают в коммуникацию в сети по разным причинам и несут с собой в сеть очень разный контент. Несомненно одно: мгновенность распространения сетевого дискурса, его лично-массовый характер («по секрету всему свету»), ускорение темпа жизни людей, совершенствование периферических устройств экранной культуры, возможность самопрезентации, настоятельное желание преодолеть

дефицит общения, атомизацию общества, отчуждение людей друг от друга вызывают обращение к этой форме коммуникации все большего числа людей, часть из которых поселяется в Сетях и испытывает определенные психологические проблемы и фрустрацию при лишении их такой формы коммуникации (что проявилось, например, при отключении соцсетей в октябре 2021 года).

Мы не исследуем оперативную информацию в соцсетях (погода, курс валют, статистическая информация о ковиде, фактография новостей). И даже не исследуем практические советы, которыми полон интернет (что делать, если воспалились десны, как мочить яблоки, где поесть в Тульской области и т.д.). Предметом нашего анализа и типологизации выступают типичные нелинейные и не исключительно прагматические тексты, составляющие дискурсы в соцсетях: научный (академический), деловой, медийный, художественный, разговорный и т.д.

Этот новый вид коммуникации активно рефлексировался. Многочисленные исследования коммуникации в соцсетях стараются ответить на ключевые вопросы в отношении сетевого дискурса [Амзин 2016], [Иванов 2002], [Носов 2001], [Сальникова 2012], [Силаева 2004]. По нашему мнению, они таковы:

Как аудитория участвует в медиапроизводстве контента блогеров?

Насколько визуальный контент предпочитается текстовому?

Есть ли создание цифровых сообществ?

Есть ли игровые практики?

Какие каналы дистрибуции контента используются – сайт, соцсети, мессенджер, рассылки, новостные агрегаторы?

Как можно судить о потреблении медиаконтента?

Что такое нелинейность контента? Какие инфомолекулы входят в контент: фотолента, фотогалерея, слайдшоу, карикатура с анимацией, интерактивная видеоклонка, мультискрипты, инфографика, таймлайн, карта, лонгрид, боты, виртуальная и дополнительная реальность?

Эти вопросы могут составить нашу перспективную программу исследований.

Сетевой дискурс доминирует в журналистике, рекламе, массовой информации, политической мобилизации, развлечениях, образовании, эдьютейнменте, социальной коммуникации, управлении и т.д. [Солопов 2020], [Бушев 2023], [Волохонский 2006].

Показателен лично-публичный характер сетевой коммуникации. В качестве целей читателей блогов называются получение информации, развлечение, отслеживание реакции публики на те или иные действия (перед нами огромная фокус-группа), чтение ради социализации и ощущение себя причастным к жизни селебритиз.

Надо сказать, что еще на заре возникновения сетевой коммуникации делались попытки положить целеполагание коммуникации в основание

классификации. Так, в ходе опроса блогеров Живого журнала, проведенного в 2005 году, были выделены следующие функции блогов [Волохонский 2006]:

- Коммуникативная функция, общение со знакомыми и расширение круга общения;
- Функция самопрезентации;
- Функция развлечения. Блоги – неисчерпаемый источник развлекательного чтения;
- Функция сплочения и удержания социальных связей (поддержание прервавшихся социальных связей и создание виртуальных сообществ, организация рабочих групп);
- Функция мемуаров, отложенная коммуникация с самим собой и желание общаться с другими мемуаристами.

Но, поскольку, помимо блогов, в Сети представлены и иные дискурсивные (жанровые) формы, список этих функций может быть продлен и дополнен.

Особого внимания заслуживает функция воздействия, которое в Сети организуется и реализуется иными средствами, чем в традиционных, внесетевых формах коммуникации. Наиболее характерно новые речевоздействующие практики реализуются в сетевой рекламе и PR.

Реклама предполагает создание прагматически ориентированных текстов, приводящих реципиентов к определенному результату. Воздействующие тексты издавна привлекают внимание филологов, пытающихся осмыслить проблемы речевого воздействия. К сфере филологии рекламу относит и то обстоятельство, что реклама – это текстовая деятельность (создание печатных, аудиовизуальных или креолизованных текстов), а не просто деятельность экономическая или социокультурная.

Но реклама – это и «епархия» психологов. Если PR-мен является практикующим социологом, знакомым с процедурами социологического анализа общества и своих действий, то рекламист является практикующим психологом.

Человек коммуницирующий – это не только читатель или создатель канонических текстов. Сегодня нет молчащего большинства, доминирует культура знания большинства, популярное знание.

Методология исследований коммуникации у каждой специальности, изучающей коммуникацию, своя. Суждения о мире психического непсихологическими методами высказывают социология, филология, герменевтика. Они представляют свой анализ речевой деятельности, анализ ценностей человека, строящего тексты культуры. Становится возможным высказать суждения о личности отправителя текста на основе создаваемых им вербальных произведений.

Понимание языковой личности автора текста доступно и как понимание профиограммы ратора в той или иной специальности. В центре внимания профессиональной риторике – профессиональные риторы и их речевые портреты. Для такого речедеятеля как специалист по связям с общественностью показательно умение писать медиатексты, в том числе оригинальные тексты, а также умение организовывать внедрение текста в соответствующую сеть. Методами исследования PR являются методы оценки «управления репутацией в сети», риторический анализ текстов и действий. Материалом могут являться тексты сайтов отдельных компаний. Цель таких исследований – выявить и обсудить характерные особенности управления репутацией как части *диджитал*, как части интернет-маркетинга.

Перспективными темами исследования в этом аспекте могли бы стать новейшие компетенции в составе языковой личности специалиста в области связей с общественностью. Навыки построения текстов и организации ивентов в пиаре требуют риторических знаний и компетенций. В пиаре, особенно в политическом пиаре, риторика выполняет и вторую свою задачу – не дать увлечь себя на поле деятельности, невыгодной себе и обществу. Риторические знания необходимы при профайлинге – детекции намерений и персоны автора.

В современной литературе на основании анализа большого количества научных источников и конкретной практики в сфере паблик рилейшнз ставится задача выявить точки соприкосновения между коммуникативистикой и психологией. Эти взаимосвязи выявлены в психологии речи и теории профессиональной речевой деятельности в прагматических текстах рекламы, в социальной психологии коллективов и вербализации их ценностей, проблемах мотивации в рекламе и т.д. Внимание к вербальным и невербальным механизмам коммуникации, стремление к визуализации коммуникации с целью облегчения понимания смысла текста – проблемы вполне психологические. Исследуя рецепцию текста, мы даем обоснованные рекомендации для текстопостроения. В психологии речи, так же, как и в ораторике, в стилистике, в риторике речь ведётся о *речевом воздействии*. И если в риторике или литературоведении все речевое воздействие сводится к фигурам речи, то в психологии воздействие речи поменяется как использование психологических механизмов аргументации, манипуляции, внушения и т.д.

Показательно здесь само понимание важности речи, языка и текста. Речь – объект исследования психологии и лингвистики. Речь в рекламе и PR служит для влияния и взаимовлияния и организации социальных контактов. Коммуникативная и когнитивная функции языка дополняются здесь речевой прагматикой. Работает текст, погруженный в коммуникацию, работает дискурс как вид разговорной практики. В союзе с социологией, социальной психологией обсуждаются способы организации

такого дискурса, прежде всего интерактивные, прагматические, контекстные аспекты вербальной коммуникации. Коммуникативные максимы, коммуникативные намерения, статус говорящего, весь арсенал древней риторики, техники манипулирования собеседником – вот некоторые из проблем, с которыми сталкивается речедеятель в коммуникативных специальностях.

Налицо важность проблемы убедительного и кажущегося убедительным, проблем аргументации, подбора доказательств, качества речи. Риторическая проблематика связана сегодня с психологией речи, теорией речевой деятельности, представленной, например, в трудах А. А. Леонтьева [Леонтьев 1997]. Прагматика речевой деятельности – осознание задач, которые ставятся в речевой деятельности. Есть мнение, что эта лингвистическая парадигма завершила свой путь без анализа своих результатов. В наших работах в этой связи обсуждается проблема подготовки в области риторики [Бушев 2006], знание риторики [Бушев 2020].

К риторическим работам примыкают работы по политической коммуникативистике [Бушев 2018] и коммуникациям в связях с общественностью [Бушев 2019].

В наш «век коммуникации» сложился целый круг коммуникативных специальностей (райтер, рекламист, маркетолог, имиджмейкер, специалист медиа, выборный технолог, кризисный коммуникатор, психотерапевт и т.д.) Анализ их деятельности базируется на формирующейся в двадцать первом веке, благодаря усилиям когнитивной науки, междисциплинарной теории коммуникации, которая, и по сути дела, является продолжением древней аристотелевской риторики. В основе этих специальностей лежит *поиск убедительного и кажущегося убедительным*, а также управление человеческим выбором – то, чем занималась древнейшая наука о коммуникации – аристотелевская риторика.

В этой связи нами и под нашим руководством разрабатываются проблемы мотивации в рекламе и создания рекламных цифровых текстов. Традиционно технологии воздействия в рекламе AIDA решаются при помощи рациональных и эмоциональных стратегий мотивации. Существует порядка двадцати наиболее сильных мотиваций убеждения – страхом, комфортом, дешевизной, социальной полезностью, качеством, престижем и т.д. Без мотивации невозможно построение прагматически эффективного текста. Здесь текстовая деятельность соприкасается с психологией воздействия, психологией креативности, психологией ценностей, психологией установок. Здесь перед нами также предстаёт проблематика рационального и некритического воздействия. Скажем, известны противопологаемые рациональным эмоциональные стратегии воздействия (креативная реклама, реклама брендов, атмосферная реклама).

В течение последнего десятилетия исследователей и практиков занимает использование блогосферы для коммерческого и некоммерческого пиара. Прочтение блогов на сайтах традиционно печатных некогда СМИ заставляет нас понять фигуру просьюмера. Стираются различия между потребителями информации и ее авторами.

Мы говорим о маркетинговом характере массовой коммуникации в Сети. В сетях представлены такие виды массовой коммуникации, как реклама (существует более сорока видов Интернет-рекламы!), пиар, политическая коммуникация, журналистика, интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК). Растет значимость коммерческой, потребительской журналистики (пиарналистики бизнеса) в индоктринации читателя. Такой массовой коммуникацией, как пиарналистика, как известно, выполняются и рекламная, и ценностно-ориентирующая, и информационная функции. В современных условиях значимым элементом ИМК становится организация электронной продажи. В деятельности такого автора сетевых произведений – копирайтера – слово должно отзываться увеличением объемов продаж, успехом нового товара. «Поэт коммерции» должен разбудить желания, главным в его деятельности является умение мотивировать – умение психолога. Вот почему все эти рекламные компетенции относятся к наукам об убеждении людей. Но это междисциплинарная область: рекламист – это и писатель, и художник, и актёр, и лингвист, и продавец....

Специальности коммуникативного круга претерпевают цифровизацию. Особенно актуальными сегодня являются работы, описывающие цифровизацию в маркетинге. Таких работ в настоящее время не очень много, а они могли бы стать основанием и практических действий маркетологов, перед которыми стоят сложные задачи: как составить стратегию продвижения бренда в «новых медиа» так, чтобы добиться максимальной эффективности в цене и результатах? Популярность социальных медиа продолжает возрастать. Потребителям предлагают различные товары и услуги, активное распространение Интернета и появление электронной торговли вносят свои коррективы в то, как действует бизнес, как потребители принимают решения и делают покупки и, соответственно, как строится успешный бренд. Интернет является уникальной средой, благодаря которой в режиме реального времени можно получить четкие данные об отношении потребителя к бренду, выстроить систему предпочтений посетителей. И наоборот, сам потребитель без потери времени способен узнать «объективные» составляющие бренда. Вот в этой связи и надо смотреть на практические выводы теоретических разработок, на основе которых можно дать рекомендации по использованию контекстной рекламы, SMM, технологий геймификации и т.д. Интернет предоставляет безграничные возможности для создания сообществ, являющихся основой для формирования

лояльности к компании/бренду. Развитие социальных сетей является ключевым моментом в развитии рекламного сегмента рынка в целом. Суммарная аудитория социальных площадок превышает миллиард пользователей и, по некоторым оценкам, в ближайшее время обгонит аудиторию поисковых систем.

Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество методов работы. Самые популярные из них – это построение сообществ бренда (создание представительств компании в социальных медиа), работа с блогосферой, репутационный менеджмент, персональный брендинг и нестандартное SMM-продвижение. Реклама в социальных сетях является превосходным способом, позволяющим выстроить наиболее эффективные и в тоже время доверительные отношения с пользователями социальных сетей. При этом *digital* интегрируются в комплексные программы управления репутацией компании и бренда. Активные интернет-пользователи сами создают брендонтент, влияют на восприятие бренда другими пользователями. (online-reputation). Актуален мониторинг бренда в сети.

Показательно использование методов SMM–рекламы. Так, выдвинутые при нашем участии рекламные предложения для рекламы студии красоты и массажа «RIGA» в г. Санкт – Петербург включали следующие компоненты.

1. Разработать серию акций: сезонные акции (белые ночи и низкие цены), салон продлевает свою работы до двух часов ночи. С 23.00 до 02.00 скидка 20%.

2. Подготовить текст и иллюстрации для позиционирования данных услуг в зависимости от площадки.

3. Рекламные плакаты (на самом салоне на щите билборд и на остановках близлежащих, расклеить плакаты с акциями).

4. Сделать фотографии этих плакатов с акциями и распространить в наиболее посещаемых социальных сетях Санкт-Петербурга, используя элементы нативной рекламы с элементами вирусной рекламы и партизанского маркетинга.

5. Записать короткие видеоролики по продвижению услуг. На наш взгляд, реализация данных практических рекомендаций будет способствовать большему количеству клиентов и расширит целевую аудиторию салона.

Пример вышеуказанной разработки не единичен. Один из студентов, работавший под моим руководством, представил логичный, законченный, оригинальный труд, рассматривающий специфику Интернет-рекламы на транспорте. Это актуально для Интернет-продвижения и Интернет-рекламы. Автор продемонстрировал знакомство с работой *Яндекс.Директ*, ссылаясь на персональный кабинет предприятия на этой площадке, показал знание настроек и ключевых слов поисковой рекламы,

геотаргетинга, метрики и т.д. знание современных методов создания сайта, лендинговой площадки и т.д. Создание контекстной рекламы обсуждается в связи с отстройкой от конкурентов. Обсуждается столь популярный сегодня маркетинг в социальных сетях для автопредприятия.

В другой работе создан терминологический аппарат таргетированной рекламы, описана работа кабинетов настройки в соцсетях. Далее на примере автосалона автор ведет речь о типах постов и разработке таргетированной рекламы для автомобилей на тверском рынке.

Сильной стороной работы является оценка степени новизны феномена таргетированной рекламы, новизны терминологии, разработка критериев оценки, критериев запуска таргетированной рекламы и типов постов.

Благодаря тому, что пользователи социальных сетей сами охотно предоставляют информацию о себе (указывают в своем профиле пол, возраст, семейное положение, занимаемую должность, наличие детей) таргетироваться можно на достаточно узкую и подходящую по нужным критериям целевую аудиторию.

Например, вы можете таргетироваться на участников конкретных сообществ в социальных сетях, их друзей, интересующимися конкретными услугами, или даже на похожих на них пользователей (технология Look-alike).

Показательно внимание к более сложному контенту, обозначаемому как нативная реклама. Создание нужного контента – знамение бизнес-коммуникации.

На материале блогов по дизайну мы видим, что этот контент может быть и развлекательным, и красивым, и может отвечать практическим потребностям, но в то же время выполняет маркетинговую функцию:

https://www.elledcoration.ru/interior/flats/elegantnaya-nebrezhnost-kvartira-54-m-v-varshave/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Как правило, компании, занимающиеся SEO, ведут полноценные ресурсные блоги о продвижении (хороший пример – популярный блог компании Texterra).

В качестве еще одного примера посмотрим на медиатизацию территориальных брендов. В сети существуют материалы по территориальному пиару и маркетингу территории. Можно без труда привести примеры сетевых источников – удачного территориального пиара отдельных городов России и зарубежных стран.

Показательны возможности туристического продвижения отдельных объектов культурного наследия города, например (в наших условиях) Твери. Для понимания сути работы стоит познакомиться с проектом «Ключи Твери».

<https://www.tver.ru/about/info/keys-of-tver/>

Стоит обсудить роль ивентов (Неделя Тверской книги, «Тверской переплет», музыкальные и др. фестивали, спортивные, гастрономические события) в продвижении Тверской области. Здесь можно использовать

ссылки на возможные ресурсные материалы по тверскому краеведению для промотирования Тверской области (Ресурсы ПРО ТВЕРСКОЕ, краеведческие библиотеки, региональное Минтуризма и т.д.). Медиатизация ивентов, виртуализация всякого рода встреч, мероприятий стала особенно актуальна в коронавирусную пандемию.

Коммуникативные исследования – исследования междисциплинарные; в центре таких исследований филологов, психологов, социологов, философов, педагогов в них предстаёт многогранный феномен коммуникации. В этой связи в последние годы нами представлена программа исследования интернет-коммуникации.

В рамках интернет-дискурса для экономической активности можно выделить набирающие все большую и большую популярность интернет-PR и рекламу. Они воспринимаются как часть интегрированных маркетинговых коммуникаций. Анализ исследовательских и профессиональных интересов обучающихся в вузе (а это один из методов, применяемых в данной работе) показывает актуальность SMM-маркетинга и других видов Интернет-маркетинга для обучающихся: только за последние годы в выпускных квалификационных работах студентов ТвГУ представлены разработки в области интернет-продвижения студии танцев и йоги, различного рода Интернет-торговли, услуг автомобильного салона, рекламного агентства, косметического салона, фастфуда, супермаркета, флористического салона, строительного магазина, студии звукозаписи и даже государственных и муниципальных органов – например, фонда социального страхования. Итак, на выходе после обучения обучаемый – предприниматель или служащий – должен обладать соответствующей компетенцией. Это заставляет внимательно посмотреть на данную компетенцию.

Специальности коммуникативного круга также претерпевают цифровизацию. Это сказывается и на подготовке студентов. Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество методов работы. Самые популярные из них – это построение сообществ бренда (создание представительств компании в социальных медиа), работа с блогосферой, репутационный менеджмент, персональный брендинг и нестандартное SMM-продвижение. Реклама в социальных сетях является превосходным способом, позволяющим выстроить наиболее эффективные и, в то же время, доверительные отношения с пользователями социальных сетей. При этом *digital* интегрируются в комплексные программы управления репутацией компании и бренда. Активные интернет-пользователи сами создают брендконтент, влияют на восприятие бренда другими пользователями. (*online-reputation*). Актуален мониторинг бренда в сети.

Проблемы обучения электронной коммуникации весьма актуальны: создание роликов, видеофильмов, постижение масс-медийного контента, умения создавать электронные учебники, книги, вести блоги, платформы, работать в электронной образовательной среде и т.д.

В этой связи мы не можем обойти стороной проблемы восприятия и понимания текстов рекламы. Психология потребителей и поведение потребителей – две основные темы исследований в современной области маркетинга. Они также являются важной основой для бизнес-маркетинговых стратегий.

При исследовании восприятия социальной рекламы было показано, что необходимы эмпирические исследования, чтобы изучить фактическую взаимосвязь между возрастными группами и выяснить, может ли самооценка возраста повлиять на поведение потребителей различного возраста и эффективность маркетинговых стратегий бизнеса.

Без учета восприятия в рекламе компаниям может быть труднее сделать свою продукцию привлекательной для потребителей. Реклама часто работает, апеллируя к вкусам, желаниям, фантазиям потребителей. Восприятие может быть важным инструментом в рекламе, позволяющим потребителям почувствовать, что они могут быть определенными людьми, выглядеть определенным образом или испытывать определенные чувства при использовании определенного продукта. Например, реклама пива на солнечном тропическом пляже может заставить почувствовать, что потребитель может расслабиться, выпив пиво.

Смыслотехническое воздействие в социальной рекламе осуществляется с помощью трех основных методов: во-первых, на основе идентификации, во-вторых, с использованием аксиологических приемов, направленных на ценностную сферу личности, в-третьих – с учетом реальных потребностей человека как факторов формирования определенных смыслов.

Социальная реклама предназначена для информирования общественности о проблемах, которые, как часто считается, отвечают общим интересам общества в целом. Степень влияния социальной рекламы на поведение отдельного индивидуума и общества в целом находится в прямой зависимости от содержания послания и возрастной категории аудитории.

В первую очередь необходимо изменение сознания всех участников дорожного движения. Именно с этой целью и выступает социальная реклама в области ПДД. На сознание водителей влияет эмоциональный посыл сообщения, причем это сообщение должно иметь максимально возможный охват целевой аудитории.

Цифровизация коммуникации, как мы пытались показать, является ведущим трендом современной культуры, а потому не может пройти мимо внимания лингвиста, занимающегося проблемами изучения дискурса. Цифровой дискурс – это не просто «речь, погруженная в жизнь», а речь, оформленная на основе цифровых технологий и погруженная в жизнь виртуальную. Учет этой трансформации дискурса должен лежать в основе современной дискурсологии.

ГЛАВА 9. ПОЭТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА КАК ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА

В главе анализируются характеристики и роль поэтической функции языка, описанной Р. О. Якобсоном. Показано, что, помимо тех характеристик, что закреплял за данной функцией Якобсон, одной из важнейших является функция формирования эстетического события и эстетического объекта как важнейших категорий литературно-художественного дискурса.

Ключевые слова: литературно-художественный дискурс, поэтическая функция, эстетическое событие, эстетический объект.

Из всех, даже самых авторитетных, определений дискурса («речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова 1990: 136]; «текст, погруженный в ситуацию общения» [Карасик 2004: 147]; см. также обзор в [Карасик 2002: 275–285]), нам ближе собственное: это «диалогическая и динамическая мыслительно-речевая практика, протекание которой обусловлено местом, временем, культурно-историческим и социально-психологическим контекстом говорения (креативным контекстом) и слушания (рецептивным контекстом), характером намерений говорящего и слушающего, характеристиками объекта, особенностями специализированных языков, которыми кодируется сообщение, а также особенностями языков декодирования» [Миловидов 2016: 13]. И не только потому, что «своя рубашка ближе...». Жизнь – не отвеченное понятие, она проживается конкретными людьми, и акцент на людях (креативный и рецептивный контексты) в полной мере отвечает тенденциям современной антропо-ориентированной лингвистики. Кроме того, важно подчеркнуть динамизм, процессуальность дискурса, который есть деятельность, а потому, используя язык (языки), разворачивается во времени, оставляя свой след в текстах, которые – в рамках очередной, рецептивной фазы дискурса – становятся следующим этапом процесса. Представляется целесообразным начать именно с процессуальности дискурса, в рамках которого и реализуется поэтическая функция языка.

Он заиграл на своей флейте, и все малыши
хором запели песенку про кузнечика, которую сочинил поэт Цветик:
В траве сидел кузнечик,
Совсем, как огурчик...

И такая печальная была эта песенка, что под конец даже сами певцы не выдержали и горько заплакали. Всем было жалко бедного кузнечика, которого съела прожорливая лягушка. Слезы текли из их глаз в три ручья.

Н. Носов. Незнайка и его друзья

В первой книге о Незнайке есть замечательный эпизод, проливающий свет на существенную характеристику художественного дискурса, которую обычно либо вообще не принимают во внимание при разговоре об этом феномене, либо не придают ей существенного значения. В этом эпизоде коротышки, явившиеся в Зеленый город вслед за горе-путешественником Незнайкой, устроили концерт в честь девочек-аборигенов и, спев широко известную песню о погибшем в прожорливом лягушкином брюшке кузнечике, вдруг заплакали.

Почему? Хор малышей, надо полагать, пел слаженно, что говорит о достаточном количестве репетиций и проходов, во время которых эта песня уже исполнялась. А, коли так, хористы были прекрасно осведомлены о событиях, описываемых в тексте и, следовательно, не узнали во время этого исполнения ничего нового, что могло бы их расстроить. Иными словами, порождая и, соответственно, потребляя некий отрезок художественного дискурса, они отреагировали не на новую информацию, а на информацию хорошо известную. Следовательно, ответ на вопрос, почему заплакали малыши, лежит не в плоскости того, *что*, а в плоскости того, *как* произошло нечто, вызвавшее слезы малышей, – то есть, не в сути информации, а в способе ее оформления.

Достаточно расхожее представление о художественной литературе, доминирующее, в том числе, и в академической среде, состоит в том, что литературный текст сообщает нам нечто новое, то, чего мы не знали. Читая текст, особенно экзотический и в географическом, и в хронологическом плане, мы, якобы, считываем определенную культурную информацию, что делает нас более осведомленными, более богатыми духовно, позволяет эффективно преодолевать межкультурные барьеры. Прочтение литературно-художественного произведения как источника фактов, как исторического источника имеет давнюю традицию – смотри, например, речь В. О. Ключевского, произнесенную им в 1880 году по поводу открытия памятника А. С. Пушкину и включенную в седьмой том восьмитомного собрания сочинений великого историка. Мысль о том, что экзотические тексты в силу этого должны обязательно снабжаться комментарием, звучит в огромном количестве работ. Социокультурный комментарий к литературно-художественному тексту, конечно же, важен (См., например: [Тер-Минасова 89-96]), но литературно-художественное произведения, это, все-таки, не только энциклопедия. Более того, читаем мы не для того, чтобы узнать, какой длины были камзолы у придворных Людовика XIV или каких размеров была летающая тарелка у пришельцев с планеты Тральфамадор. Конечно, можно переживать (и даже плакать), когда, читая книгу, впервые сталкиваешься со сценами страдания и боли – так же, как, если бы я до настоящего момента не читал песенку про кузнечика и лягушку, то, конечно же, как нормальный человек,

сочувствующий нашим братьям меньшим, начал сопереживать горестной судьбе несчастного насекомого.

Но друзья Незнайки об этой судьбе были отлично осведомлены, а потому слезы на их глазах появились не от вновь *узнанного*, а от вновь *пережитого* – того, что переживалось уже не однажды. Конечно же, автор «Незнайки» знал, что, как писал В. Шкловский, «...воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен..», что «...искусство есть способ пережить деланье вещи (динамический процесс – В.М.), а сделанное в искусстве (статический факт – В.М.) не важно (разрядка автора)» [Шкловский 1963: 15], а потому очень квалифицированно прописал эту сцену, максимально ее растянув.

Именно поэтому мы периодически перечитываем любимые книги – книги, которые заставляли нас переживать (даже если мы знаем в них каждое слово и каждую запятую), и именно поэтому мы, как правило, не перечитываем научные статьи, если, опять же, знаем в них каждое слово и каждую запятую. Если, конечно, ученый не действует как художник, изображая процесс «деланья вещи», что в научной работе иногда бывает не менее интересно, чем «сделанное».

Итак, литературный текст – не источник новой информации, а провокация переживания.

Что мы переживаем и как? Попробую вновь пережить любимый текст...

Вихрем мчится под водой
Головастик молодой...

Б. Заходер

Это Б. Заходер, выдающийся переводчик и детский поэт. О чем это стихотворение? Если бы я оставался в рамках представлений, состоящих в том, что литературный текст сообщает нам некоторые сведения (научного, исторического, социологического и проч. порядка), я бы уверенно сказал – оно о головастике, и мера моей уверенности была бы равновелика мере недоумения коллег, которым показалось бы странным, что я интересуюсь такими вещами тогда, когда в мире и в науке происходят события, по важности значительно превосходящие факт движения головастика в водах пруда.

Но я, двигаясь по тексту слева направо, то есть, читая его («Я читаю текст» – эту, на первый взгляд тривиальную, мало что значащую фразу Р. Барта из книги “S/Z” следует воспринимать как методологический постулат постструктурализма, проблематизировавшего феномен дискурса – так же, как феномен текста проблематизировал структурализм [Барт 1994: 20]), переживаю одновременно две важные вещи, точнее, не вещи – вещь есть фиксированный в пространстве объект, а я переживаю процесс... (отсюда, кстати, проблема с терминологией: постструктурализм

описывает динамические процессы, а наличная филологическая терминология, как правило, адекватна статическим объектам и плохо приспособлена для передачи текучести, обратимости, принципиальной незавершенности процессов, почему в поисках адекватной процессуальным объектам терминологии постструктурализм вынужден прибегать к чудесам терминотворчества, одним из которых является знаменитый графический неологизм Ж. Дерриды (*différance* вместо *difference* как комбинация сем «различать» и «откладывать», иначе – откладывать, растягивать различие).

Первая вещь связана с тем, что именуется поэтической (или эстетической) функцией языка, сущностью которой, как, вслед за Р.О. Якобсоном, мы привыкли считать, является «...направленность (*Einstellung*) на сообщение как таковое, сосредоточение внимания на сообщении ради него самого...» [Якобсон 1975: 202]. Как правило, в массовой (особенно, учебной) лингвистической литературе эту функцию связывают со способностью языка выражать чувства, эмоции, переживания и настроения или – проще, лежать в основе практики создания художественных произведений, обеспечивать «способность языка выступать формой искусства, становиться воплощением художественного замысла», «служить средством воплощения художественного замысла, средством создания художественного произведения» (цит. по: Немченко 2008: 38). Иными словами, поэтическая функция языка состоит в способности языка реализовывать свою поэтическую функцию! Как называется эта логическая ошибка?

Следует более внимательно вчитаться в определение, данное Р. О. Якобсоном. Что это значит – направленность на сообщение «ради него самого»? Для российского читателя, привыкшего к эстетическим манифестам, подобным знаменитому «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», воспитанному в представлении, что литература как форма общественного сознания постоянно что-то отражает и за что-то борется, такого рода эстетические экзерсисы кажутся малопонятными. Он не видит в них смысла, поскольку они не относятся ни к строительству БАМа, ни к поискам особой национальной идеи в прокисших суточных щах, а он, в массе своей, привык именно к этому.

Сосредоточение внимания на сообщении ради него самого – это не что иное, как указание на факт незаинтересованности эстетического творчества. Писатель, усаживаясь за стол, может быть озабочен вопросами внелитературными, но, если он *писатель*, у него нет иной обязанности, кроме как хорошо *писать* («...единственная обязанность писателя перед обществом – это хорошо писать...», говорил в интервью журналу *Tygodnik Powszechny* в 1988 году Нобелевский лауреат Иосиф Бродский).

Что же это такое – хорошо писать?

Формулировка понятия поэтической функции языка, данная Р. О. Якобсоном, резонирует с другой, не менее известной формулировкой, где нечто из того, что мы пытаемся определить, также соотносится с фактом незаинтересованности. Это знаменитое определение красоты, данное И. Кантом в «Критике способности суждения» – здесь красота понимается как «...форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нем без представления о цели...» [Кант 1966: 240].

Чем же будет эта целесообразность и как ее понять, при том, что философ отсекает от целесообразности главное, что эту целесообразность формирует – цель?

И, что самое главное, как в этом непростом философском контексте понимать красоту заходеровского головастика?

Целесообразность без цели – это внутренняя целесообразность предмета, не зависящая от восприятия его «со стороны», и основанная на его имманентных характеристиках – мере, симметрии частей, гармонии.

Можно гипотетически представить себе подобного рода предметы, первым в ряду которых, очевидно, будет... шар. Шар – воплощение абсолютно целесообразной формы (как и, допустим, треугольник, который есть воплощенная симметрия и равновесие): для шара характерно оптимальное соотношение площади поверхности и массы, шар – самый неуязвимый из объемных фигур (в отличие от, допустим, куба или параллелепипеда), то есть – самый целесообразный. Но это – целесообразность, которая воспринимается «без представления цели». Шар по определению не может иметь цели, он не является субъектом целеполагания.

Говоря о целеполагании, Кант, конечно, имеет в виду совершенно иного субъекта – человека. Но и человек (если он не футболист) не связывает свои жизненные цели с шаром – какой бы целесообразной формой тот ни обладал. Главные цели *homo sapiens*, исходя из которых он (она) выбирает целесообразной формы (красивые) предметы – поддержание гомеостаза в онтогенезе и, в перспективе, филогенезе. Жениться на шаре – нельзя, как нельзя за него и выйти замуж. Разговоры же о том, что в стремлении к абсолютной красоте каждый из людей обязан как можно скорее принять шарообразную форму, остаются адекватными лишь в рамках теоретического, но не эмпирического (по Канту же) философствования. В пределах же эмпирического постижения мира доминирует не абсолютная, а относительная красота, сопряженная с целью; особь женского пола выбирает партнера на основе эстетической оценки его морфологических признаков (способен он завалить мамонта и обеспечить семью или нет), в то время как ее партнеру милее всего морфология, обеспечивающая наиболее уверенное вынашивание и сохранение потомства как носителя его индивидуального генетического

кода. Это – целесообразность, скажем мы, первого уровня, целесообразность, соотносимая с целью.

Кстати, литература исходит и из этой формы целесообразности, поскольку, начиная со Средних веков, ее главной темой является выбор целеполагающим субъектом (героем или героиней) партнера (партнерши), наделенного (наделенной) идеальными морфологическими характеристиками, которые позволили бы ему (ей) преодолеть границы, отделяющие онтогенез от филогенеза и утвердить свои индивидуальный геном в качестве общечеловеческого. Правда, большая литература выходит за эти формы целесообразности – к бесцельным, но эти формы относятся к целеполаганию уже не персонажа, а автора, и об этом лучше других говорил М. М. Бахтин, когда разводил «кругозоры» автора и героя: «...ясно, что здесь имеют место два плана ценностного восприятия, два осмысливающих ценностных контекста (из которых один ценностно объемлет и преодолевает другой): 1) кругозор героя и познавательно-этическое жизненное значение каждого момента (поступка, предмета) в нем для самого героя; 2) контекст автора-созерцателя, в котором все эти моменты становятся характеристиками целого героя, приобретают определяющее и ограничивающее героя значение (жизнь оказывается образом жизни) [Бахтин 1986: 160-161].

Правда, все это относится уже ко второй ипостаси сюжета о головастике, и речь о ней пойдет ниже. Если же говорить о поэтической функции языка, то хотя бы частично, косвенно, метафорически продемонстрировать ее суть может высказывание В. Брюсова о мастерстве, с которым ресурсами латыни распорядился автор «Энеиды». Брюсов переводил поэму и знал ее, что называется, изнутри: Вергилий, создавая свое последнее и главное произведение, продемонстрировал то, что наш поэт назвал «властью человека над стихией слова» (См.: [Вергилий 1971: 23]), или, сказали бы уже мы, способностью хаос лексикона преобразовать в космос текста – космос как нечто упорядоченное, подчиняющееся принципам меры, гармонии и симметрии, а, следовательно, прекрасное.

Что значит соответствующий всем канонам прекрасного, абсолютно целесообразный текст? Наверное, тот, в котором, как в шаре, удачно сошлись площадь поверхности (форма) и масса (содержание), где ресурсы языка (выражающее и изображающее) оптимально соответствуют выражаемому и изображаемому, где принцип экономии «избыточен», а избыточность экономна. Конечно можно долго и пространно описывать эти ресурсы, а также разнообразные механизмы, которые способствуют их реализации – этому посвящена колоссальная по объему и замечательная по качеству литература. Но можно начать и с примера, где, по мнению знатоков, мера, гармония и симметрия стали принципом существования текста.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» – фраза, которая в русской словесности считается эталонной (не уступает ей, по мнению знатоков, лишь «В белом плаще с кровавым подбоем...»). И не случайно: десять редакций одной только первой части «Анны Карениной», осуществленных писателем, достойно отшлифовали первую фразу романа.

Что делает толстовский пассаж целесообразным (прекрасным)? Мы бы предположили – идеальная членораздельность как факт оптимального соотношения ресурсов языка объему фиксируемого в тексте содержания. Поскольку все мы познаем в сравнении (в соотнесении дифференциальных сем, осуществляемом на основе общей, интегральной семы), то именно членораздельность будет условием идеальной фиксации смыслов в тексте и, наоборот, смыслообразования на основе матрицы текста.

Членораздельность – результат удачной реализации того, что в структуралистски ориентированной филологии обозначается либо принципом оппозиции [Трубецкой 2000: 36], либо принципом противопоставления [Лотман 1996: 48]. Любая оппозиция есть противопоставление: сопоставление на основе интегральной семы (классемы, архисемы) и противопоставление как результат взаимодействия сем дифференциальных – причем, на всех уровнях текстовой (дискурсивной) структуры. Оппозиции могут быть как одномерными, так и многомерными, привативными и градуальными; они могут быть даже (в особых случаях, как в литературно-художественных текстах) дизъюнктивными, и во всех случаях они внимательно отслеживают то, что является губительным для литературно-художественного текста – тавтологию (не путать с намеренным повтором как осозанным и оправданным приемом). При этом, не лишним будет повторить, оппозитивность проявляется не на одном, а на нескольких уровнях языковой системы, и тавтология касается не только лексического, но и иных планов текста.

Толстовское прилагательное ‘счастливые’ и краткое прилагательное ‘несчастлива’ к примеру, представляют пример многомерной оппозиции, где интегральным (семантическим) признаком будет наличие общей корневой морфемы, а дифференциальными признаками – признаки морфологические (оппозиция – полнота-краткость формы качественного прилагательного плюс наличие-отсутствие отрицательного префикса). Определительные местоимения ‘все’ и ‘каждая’ семантически тождественны (общее), но к реализации семантики «всеохватности» идут противоположными (разное) путями – через включение в круг счастливых семейств всех сразу и «скопом», с одной стороны, и, с другой стороны, через перечисление «всех и вся». Обстоятельственные группы, вынесенные в конец каждой из двух частей (общность расположения)

предложения противопоставлены и семантически ('похожи друг на друга' и 'по-своему') и морфологически.

Но оппозитивность реализуется не только на лексико-семантическом и семантико-морфологическом уровне, но и на уровне ритмическом (точнее, это, также, будет многоуровневая оппозиция, включающая в себя и уровень ритмической организации [Гиршман 1982]). Предложение сложносочиненного типа состоит из двух синтаксически тождественных самостоятельных предложений, противопоставленных на основе бессоюзной связи, и это со-противопоставление усиливается за счет различий в ритмической организации «ударных», в каждом из этих предложений, первого и третьего колона: в первом случае мы имеем хореический зачин, во втором – дактилический. Эта сквозная оппозитивность и станет принципом организации зачина «Анны Карениной», идеального в отношении членораздельности текста, в котором Толстой, как и Вергилий в «Энеиде», достигает всей полноты власти над хаосом лексикона, демонстрируя идеальную реализацию поэтической функции языка.

В случае с заходеровским головастиком работают те же принципы сквозной оппозитивности, что и в зачине толстовского романа. Хореический зачин первого стиха вступает в отношения со-противопоставления (на уровне ритмической организации) с его второй частью (пиррихий) и, затем, со вторым стихом; находящиеся в ударной позиции в начале первого стиха гласные переднего ряда верхнего подъема «конфликтуют» с [о] заднего ряда среднего подъема, причем, в поле этого конфликта попадает и второй стих. Но главное – структура рифмы: полнота рифмы (полное совпадение ударной гласной и окружающих ее согласных фондов) становится интегральной основой морфологической дифференциации составляющих рифму лексем 'водой' и 'молодой'.

Как и в финале заходеровского текста, где рифмуются глагол и существительное:

Головастики *спешат*
Превратиться в *лягушат*.

Членораздельность – основа нормального (оптимального) смыслообразования и, очевидно, один из результатов удачной реализации поэтической функции языка. Вместе с тем, в рамках литературно-художественного дискурса смыслообразование оказывается «более чем нормальным», избыточно нормальным, а поэтическая функция языка, конечно же, представляет собой механизм гораздо более широкого действия, чем то, что описывает Р.О. Якобсон.

Море – смеялось.
М. Горький. Мальва

Процесс смыслообразования определяется Б.М. Гаспаровым как смысловая индукция, сущность которой состоит в «способности как любого компонента высказывания, так и всего высказывания в целом к непрерывному изменению и развертыванию смысла на основе тотального взаимодействия между различными компонентами, попадающими в герметическую рамку текста» [Гаспаров 1996: 247]. В процессе смысловой индукции элемент высказывания наделяется таким смыслом, который возможен только в данном конкретном контексте, т.е. при условии соположения с соседствующими компонентами дискурса, вступающими уже по факту своей рядоположенности в отношения сопоставления и участвующими в процессе его смысловой индукции. Читая текст, мы исходим из презумпции связи всех элементов текста и, соответственно, их взаимодействия (презумпции текстуальности).

Взаимодействие осуществляется в процессе чтения. Первый элемент 'море' вынесенной в эпиграф фразы из рассказа Горького осмысливается рецептивным сознанием в рамках семантизирующего понимания как часть водной глади среднего по сравнению с лужей и океаном размера, как топографема и, соответственно, объект *неживой* природы. Второй элемент фразы 'смеялось' семантизируется как действие, совершаемое, допустим, в момент эмоционального подъема неким живым существом (из коих, по опыту автора, издавать горлом и диафрагмой клокочущие звуки – смех – способны, кроме людей, лишь гиены) и относится по ведомству природы *живой*.

Презумпция текстуальности предполагает обязательное взаимодействие семантики стоящих рядом элементов знаковой цепи. Объясняет логику этого взаимодействия понятие макроструктуры дискурса.

Упорядочивание и сокращение большого количества сложной информации происходит в макроструктурах и регулируется по правилам – макроправилам. «Понятие макроструктуры, – пишет ван Дейк, – было введено для того, чтобы дать абстрактное семантическое описание глобального содержания и, следовательно, глобальной связности дискурса» [ван Дейк 2000: 41]. Ученым было определено пять таких макроправил [van Dijk 1980: 46–49] (DELETION, SELECTON, GENERALIZATION, CONSTRUCTION и ZERO), из которых более всего к определению того, как на основе макропропозиций в «Мальве» выводится макропропозиция, подходит четвертое. Если продолжать строительную метафору ученого, можно предположить, что семантика макропропозиции как здания, которое строится из кирпичиков-микропропозиций, будет не суммой их семантики, а неким блендом, поглощающим эту семантику и претворяющим ее в явление более высокого уровня (так же, как смысл не является суммой значений «смысливаемых» единиц).

Можно предположить, что это «смысливание» в случае со смеющимся морем превращается в настоящую драму: море как объект неживой природы в нормально организованном мире никоим образом не может обретать атрибуты живого организма, равно как и наоборот. Представить себе, чтобы пловец стал частью моря, то есть, впустил его в себя, означает со стопроцентной уверенностью предположить, что он утонул, а, следовательно, стал частью неживой природы. И, тем не менее, логика предикации, которая навязывает субъекту высказывания атрибуты предиката, заставляет его прорывать незыблемые границы семантических полей – равно как и наоборот: подчиняясь принципу возвращения как универсальному принципу структурной организации текста [Лотман 1995: 49], предикат стремится «овладеть» семантикой субъекта (см. о том, как предикат, «в порядке обратной связи», отражает качества объектов – [Кацнельсон 2001: 479]).

Этот конфликт (как и большинство неразрешимых конфликтов) разрешается на более высоком уровне – уровне макропозиции, где формируется вполне комфортная для романтизма (а Горький в «Мальве» – именно романтик) художественная идея (метасмысл), идея универсума, где живое и неживое слиты воедино, где природа одухотворена, человек есть часть природы, а потому, как и сама природа, вечен. На это можно намекнуть, как делает Горький, а можно и прямо описать технологический процесс обретения бессмертия, как это делает Новалис (см. ниже).

Но, несмотря на описанный конфликт, конструкция *море – смеялось* вполне членораздельна, хотя и образована на основе почти тотальной дизъюнкции.

Дизъюнкция как форма многомерной оппозиции – провокация конфликта, преодолеваемого с помощью выхода на более высокий уровень осмысления, к формированию метасмыслов. Понятно, что такого рода смыслообразование не обслуживает, допустим, бытовую (научную, юридическую, медицинскую) коммуникацию, а, если и обслуживает, то лишь как аксессуар, а не как база и основа рече-производства и рече-потребления. В иной терминологической традиции эта форма оппозиции описана В. Шкловским, который, как и прочие русские формалисты, развивался в кильватере идей Р. О. Якобсона. Дизъюнкция – это механизм «остранения», создания «затрудненной» формы: «...и вот для того чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством, – пишет Виктор Шкловский. – Приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием затрудненной формы» [Шкловский 1983: 15]. Чему служит, по мысли В. Шкловского, эта затрудненность формы? Ну, во-первых (см. выше), «растягиванию» *процесса* восприятия. А, во вторых, она нужна, чтобы спровоцировать «ощущение вещи как видение». Мы далеки от того, чтобы прямо утверждать факт прямой деривации слова «художественное»

от слова «художник», но вполне можем говорить о, допустим, квазивизуализации «вещи», о, в конце концов, «образе» или «картинке» как одной из составляющих формируемого в литературно-художественном произведении концепта [Карасик 2002: 140]. Иными словами, поэтическая функция языка есть форма технологического обеспечения художественности – как «образности» и квазивизуальности, выступающих в качестве важнейших атрибутов литературно-художественного текста. При этом, процессом чтения и осмысления текста также управляет принцип оппозиции, но в процессе развертывания текстовой цепочки, ставшей основой смыслообразования, «работает» уже не оппозиция (этот принцип удобно применять к статическим объектам, формирующим язык как систему), а...

К сожалению, семантика термина «оппозитивность» не включает, по крайней мере, явно и однозначно, сему 'динамика', а потому придется прибегнуть к дерридаистскому *différance* – мы будем не только *различать*, но и, откладывая «на потом» эффекты *различения*, формирующие пресуппозиции, учитывать их в следующем эпизоде развертывания текста, чтобы результат очередной фазы, включающий все предшествующие и основанный на сформированных пресуппозициях, стал основой дальнейшей цепочки смыслообразования – в описанной логике.

Вторая, и более важная сторона процесса реализации поэтической функции языка состоит в формировании того, что именуются эстетическим объектом.

Сказанное важно как основа разведения художественного и эстетического, двух базовых категорий теории литературно-художественного дискурса, которые в лингвистических работах, как правило, не разводятся. Художественное – технологический аспект литературно-художественного дискурса, эстетическое – онтологический, являющийся результатом реализации первого аспекта. Хотя, и «хорошо сделанный текст», текст как рожденный в процессе работы с хаосом лексикона «космос», в его симметрии, упорядоченности и гармонии, сам по себе способен вызывать эстетическое переживание, доставлять чисто «...языковое удовольствие <которое> начинает задыхаться от собственного преизбытка и изливается наслаждением...» [Барт 1989: 467]...

Я вас любил, любовь еще, быть может...

А.С. Пушкин

Будучи одним из основных теоретиков русского литературоведческого формализма, отстаивая тезис о безразличии поэзии в отношении описываемого ей объекта («... поэзия индифферентна в

отношении к предмету высказывания» [Якобсон 1987: 275]), ученый не стал расширять сферу реализации поэтической функции языка и включать в нее предмет высказывания. Этот предмет именуется эстетическим объектом (зафиксирован в тексте), и формируется в рамках того, что называется эстетическим событием (формируется в дискурсе). Именно это, а не головастик, является предметом высказывания (на месте головастика может быть кто угодно – та же Анна Каренина! Или кузнечик. Или, допустим, Генрих фон Офтердинген... Впрочем, о нем, как и обещано, – ниже).

В чем суть эстетического события и, соответственно, эстетического объекта [Дюфрен 2015: 161-176], который формируется в дискурсе, где вполне качественно реализуется поэтическая функция языка?

Обратимся еще раз к головастику Заходера. Почему поэт специально оговаривает возраст своего героя? 'Головастик молодой' – явное удвоение сущности. Головастик молод по определению, и специально указывать на его молодость нет необходимости, если речь идет об обычном головастике, которых пруд пруди в летних прудах. Значит, речь идет о необычном головастике или не о головастике вообще. Слово 'молодой' семантически избыточно, и в атрибутивном суждении, где субъекту 'головастик' предидируется указанный признак, возникает явная диспропорция. Мы бы сказали, что лежащий в основе этого суждения предикат формально одностепен, но содержательно, по меньшей мере, двухместен, хотя второй субъект дан на уровне имплицатуры, на его присутствие лишь дается некий намек.

И этот намек намекает на весьма важную вещь, которая относится уже не к головастику, точнее, не только к головастику, но к любому персонажу литературного произведения, в котором реализуется второй аспект поэтической функции языка, связанный с формированием эстетического объекта.

Допуская, что рядом с головастиком мчится вихрем еще кто-то, Заходер и мы как интерпретаторы его текста допускаем существование зазора между тем, что *есть*, и тем, что *может (должно) быть*, а также между тем, что сказано, и тем, что подразумевается. Отсюда три следствия. Первое: подразумеваемое оказывается не менее, а более весомо, чем сказанное, уже хотя бы потому, что оно подразумевается (пучок возможностей по определению весомее, чем реализованная, но, увы, только одна возможность). Второе: поскольку, как будет сказано ниже литература есть «человековедение» (а не «головастиковедение»), одна из открывающихся возможностей связана с человеком и, прежде всего, с тем, кто читает про головастика («...это я, это каждый из нас, более или менее <...> всегда в жалком и грустном смысле...») – пишет В. Белинский о Гамлете, но это вполне может относиться и к головастику, и ко мне, про него читающему...). И, в-третьих, язык, которым мы связываем сказанное и, увы, не можем связать подразумеваемое, неадекватен той мысли, которую мы хотим выразить.

А что это за мысль, которая, будучи изреченной устами художника, становится ложью?

Искусство, как утверждает Ю. М. Лотман, есть «форма миромоделирования». Иными словами, любая картина, зафиксированная в литературном тексте, претендует на отражение целостного авторского миропредставления, а не его фрагмента [Лотман 1994: 48]. Чтобы это понять, нужна известная изощренность, опыт чтения и владение соответствующими техниками понимания [Богин 2001], а также представление о том, что миромоделирование – это в равной степени зона компетенции и создателя текста, и его потребителя, способных в процессе создания-рецепции текста «включить» соответствующие предмету интерпретации культурные коды.

О чем пишет Пушкин в приведенном выше стихотворении? Ну, конечно, о любви (уровень семантизирующего понимания), причем любви мужчины к женщине. О том, что мужчина ведет себя в высшей степени достойно, и утверждает, что, несмотря на то, что женщина его более не любит, он желает ей счастья в союзе с другим мужчиной (уровень когнитивного понимания). И, наконец, о в высшей степени благополучном состоянии мира, в котором (интеллигентная, аристократическая...) жертвенность является основой гармонии, а также источником счастья и бесконечного развития и становления (распредмечивающее понимание, понимание на уровне художественной идеи, или, в нашей терминологии – эстетического объекта).

Такова картина (модель) мира как основа эстетического объекта. Но, поскольку текст создается человеком, поскольку литературный текст – это всегда текст «о человеке», о «человеке-в-мире» (даже если в том случае, если формально человека в тексте нет, последний будет пропитан человечностью – как, скажем, в анималистских текстах), а человек по определению пристрастен относительно всего, что окружает его мир, то создаваемая в тексте модель мира окрашена определенной модальностью, окружена модальной рамкой. Можно, кстати, в описании конфигурации эстетического объекта воспользоваться терминологией классической лингвистики: картина мира составит его «диктум», а модальная рамка – «модус»: все в соответствии с представлениями Ш. Балли [Балли 1955: 51–54].

Здесь, правда, следует сделать два существенных уточнения. «Картина», равно как и текст, ее фиксирующий, не могут ни на что претендовать, поскольку лишены свойств субъектности. Претендовать на миромоделирование могут лишь реальные субъекты литературного процесса – создатель текста и его потребитель. Только они способны моделировать нечто. Но не всегда, а исключительно в ситуации, когда, в соответствии с негласным контрактом, объединяющим создателя и читателя литературно-художественного текста, подключают соответствующие коды креации и рецепции, адекватные ситуации

эстетической деятельности. Только тогда создатель текста ведет себя таким образом, что из под его пера (на мониторе его компьютера) выходит текст, несущий в себе эстетический объект. И только в этой ситуации, на основе кодов эстетической рецепции, читатель «считывает» созданный автором эстетический объект. Насколько адекватны (или не адекватны) друг другу креационные и рецептивные коды – это уже вопрос типа и глубины интерпретации («гиперинтерпретации», по У. Эко [Есо 1992: 45–66], или предложенной нами в дополнение к терминологической новелле итальянского исследователя гипointерпретации, а там же – и эндо- и экзо-интерпретации... [Миловидов 2016: 144]).

Второе уточнение – относительно модальной рамки. Если это словосочетание перевыразить в терминах теории литературы тридцати-сорокалетней давности, то можно говорить об отношении модели мира к эстетическому идеалу, ее соотнесенности с категорией прекрасного, базовой эстетической категорией. В соответствии с классической теорией литературы, «...эстетически прекрасное равнозначно человеческому в лучшем смысле этого слова» [Гуляев 1977: 68]. «Человеческое в лучшем смысле этого слова», пусть и в иной терминологической оболочке, есть кантовское «целесообразное». Неплохо было бы, только, поточнее определиться с понятием «лучшее», поскольку «лучшее» в сочетании с «человеческое» дает колоссальное количество вариантов.

Можно предположить, что вариативность представлений о «лучшем» как о системе ценностей дает в результате и вариативность эстетического. Это проблема настолько обширна, что ее решение требует серьезных и длительных усилий. Вместе с тем, уже сейчас можно считать, что, допустим, автор криминального чтива, в рамках которого «лучшее» есть удовлетворение не самых достойных целей, создает и реализует представление о красоте, отличное от, допустим, представлений носителей «высококобой» культуры с ее изысканными предпочтениями. Главное: в этом контексте можно допустить право на существование (и одновременное, и пересекающееся, и взаимодействующее) разных ценностных моделей, разных моделей эстетического.

При этом следует учитывать и разнообразие (и различие) ценностных горизонтов автора и героя. Поэтому вариантов «человеческого» несть числа – они составляют предмет истории литературы, которая и изучает то, как эти реализации меняют друг друга – от эпохи к эпохе, от писателя к писателю.

И, все-таки, несмотря на вариативность эстетического объекта, есть предел, по отношению к которому эти формы эстетического будут лишь вариантами, которые, как это всегда бывает в отношении реального объекта и его прототипа, никогда не достигнут всей семантической полноты инварианта.

Прекрасным должен быть мир (художественный), абсолютно целесообразный для всех агентов эстетической деятельности – автора, героя и читателя. Естественно, такого рода конфигурация художественного мира невозможна по определению, эксперименты по ее реализации чаще всего ведут либо к профанации категории прекрасного, либо к ее инверсии («Bright New World»). Обычным, скорее, будет отказ от самой мысли о возможности реализации категории прекрасного (допустим, в «Чуме» А. Камю, где мир предстает как тотально нецелесообразный, то есть, абсурдный). В этой ситуации прекрасное имплицитно, как актуальный, но недостижимый ценностный предел. Но есть и опыты его воплощения, как это делается в романтической литературе – «Эндимион» Дж. Китса (“A thing of beauty is a joy forever” “Beauty is truth, truth beauty”) или «Генрих фон Офтердинген» Новалиса.

В последнем случае идея абсолютной целесообразности мира реализуется через мотив личного бессмертия. Понятно, что данный мотив следует интерпретировать, как нас учит история литературы, прежде всего, как мотив бессмертия художника, бессмертия искусства, то есть, в *бытийном* ключе. Но бытие бессмертного художника покоится на мотиве его *бытового*, то есть, *биологического* бессмертия, технически – череды реинкарнаций, которые в романе претерпевает как Матильда, так и сам герой (человек – камень – дерево – овен – человек...).

Небольшое терминологическое отступление. Дж. Сёрль, критически оценивая достижения лингвистической философии XX века, в одной из своих работ сетовал: «...лишь немногие из современных и недавно живших философов языка делали попытки видеть в языке естественное продолжение наших не-языковых, биологических интенций. Язык не рассматривается ими ни как продолжение, ни как продление нашего специфически человеческого биологического наследия» [Searle 2007: 14] (перевод наш: В.М.). Сёрль здесь не одинок. В последние годы все большее внимание, в частности, лингвистов и семиологов, занимают вопросы так называемой корпоральной семантики, которая озабочена рассмотрением роли биологического субстрата человеческой личности в коммуникации, и учитывает факторы его бытия.

В частности, оперирует понятиями гомеостаз как равновесие биологической системы, онтогенез и филогенез. Соглашусь, это непривычные для филологии термины (хотя факты их использования автору известны [Федоров 1981]). Но этот понятийно-терминологический аппарат обеспечивает, как мне кажется, возможность реализации нового взгляда на, в частности, эстетическое событие и эстетический объект как предметы теории литературно-художественного дискурса.

Более понятным использование этих терминов станет, если вспомнить знаменитое определение литературы как «человековедения». Иначе, сказали бы мы, художественной антропологии. Не углубляясь в

предмет, а исключительно с целью обозначения контекста, вспомним, какую роль в понимании сути литературы сыграла введенная З. Фрейдом и растиражированная фрейдистским литературоведением дихотомия Эроса и Танатоса как базовых онтологических категорий, формирующих поле напряжения, в рамках которого и существует человек (см., например [Красильников 2007: 19] и далее). Стремление к преодолению факта конечности жизни и продолжению себя за пределами физического, земного существования, в сфере духа, в боге (метонимический сдвиг), в социуме, а также памяти последующих поколений, в «заветной лире», в «пароходах, строчках и других долгих делах» (метафорический прорыв) – не является ли вся эта богатая и разнообразная проблематика частными случаями реализации конфликта Эроса и Танатоса, жизни и смерти, о которых писал отец мирового психоанализа?

Если рассматривать феномен эстетического события и эстетического объекта в этой терминологии, то можно признать: Новалис утверждает уникальную способность героя своего романа к поддержанию стабильного гомеостаза в онтогенезе, причем, именно это обуславливает и его филогенетический формат – бессмертие человека в человечестве, полное воплощение индивидуального в родовом. По сути, перед нами эстетический объект, созданный романтизмом – абсолютная целесообразность филогенеза, реализованная посредством абсолютно целесообразного онтогенеза.

Эта реализация и станет эстетическим событием. Событие, как установлено, есть результат перехода персонажем границы, разделяющей семантические поля [Лотман 1970: 285]. Персонаж Новалиса прорывает барьер между индивидуальным человеком (онтогенез) и человеком родовым (филогенез). Неслучайно о «смысловом прорыве» как формообразующем механизме бытийного дискурса, к которому относится и дискурс художественный, говорят исследователи [Карасик 2002: 349]. Быт, преобразующийся в бытие – такова логика эстетического события, продуктом которого как раз и станет эстетический объект.

Об этом писал, в частности, М. Хайдеггер, когда говорил: «...ибо творение только тогда действительно, когда мы отторгаемся от всей нашей обыденности, вторгаясь в открытое творением, и когда мы таким образом утверждаем нашу *сущность* в истине *сущего*» [Хайдеггер 2008: 209].

Как происходит этот «прорыв» и это «вторжение» из *сущности* в *сущее*?

Одним прыжком я очутился у ее ног. Она отпрянула от моего прикосновения, окутывавшая ее голову жуткая погребальная пелена упала, и гулявший по комнате ветер заиграл длинными спутанными прядями пышных волос – они были чернее вороновых крыл полуночи! И тогда медленно раскрылись глаза стоявшей передо мной фигуры.

- В этом... - пронзительно вскрикнул я, - да, в этом я не

могу ошибиться! Это они - огромные, и черные, и пылающие глаза моей потерянной возлюбленной... леди... ЛЕДИ ЛИГЕЙИ!

Эдгар По. Лигейя

По-разному...

Романтическая литература, как видно из того же анализа романа «Генрих фон Офтердинген» – наиболее удобное поле для разговора об эстетическом событии и эстетическом объекте, так как здесь они явлены в самих событиях, формирующих сюжет. Что происходит в одной из самых страшных новелл «романтика-рационалиста» Эдгара По? Похоронив свою возлюбленную, наиболее полное воплощение идеи «Интеллектуальной красоты», леди Лигейю, повествователь женится на леди Ровенне, чтобы через некоторое время увидеть на смертном одре и ее. Горюя у ее бездыханного тела, он наблюдает борьбу между силами смерти и разложения и таинственной энергией, которая, периодически прорывая пелену смерти, играет в теле и на лице леди РОВЕННЫ. А затем со смертного одра восстает леди Лигейя.

Что, вообще, происходит? А ровно то, что произошло с заходеровским головастиком: избыточность актантной структуры (два актанта в идентичной синтаксической позиции на один предикат) взрывает изнутри закрепленные в обыденном языке представления и – это главное – намекает на существование иного миропорядка, где открывается пучок возможностей... Кстати, от этих возможностей так захватывает дух, что и слова-то не найти! Что, собственно, и требовалось доказать. «Двум смертям не бывать...»? Еще как бывать! И не двум, а больше («Генрих фон Офтердинген»! «Умерла так умерла»? – Ничего подобного! Умерла, а потом взяла – и воскресла. И еще воскреснет, и не раз («Лигейя»).

Эстетический объект, пользуясь технологическими возможностями поэтической функции языка, реализует в онтогенезе всю мощь и всю красоту филогенеза. Красоту как целесообразность без цели.

Правда, реализуя, лишь намекает.

Строго говоря, такого рода прорыв и возможен лишь в жанре намека. Говоря простыми словами, это всего лишь трансгрессия, мимикрирующая под трансценденцию...

«...он не является самим собой, он лишен
самости, он есть все и ничто одновременно,
он наслаждается светом и тенью... он получает
столько же радости от Яго, сколько и от Имогены.
То, что шокирует добродетельного философа,
радует Поэта-хамелеона»

[Keats 1958: 386-387].

Приведенные слова – из письма Джона Китса, который одним из первых, наряду с С. Колриджем и У. Хэзлиттом, открыл для англичан творчество У. Шекспира. Шекспир, в интерпретации Китса, способен отказаться от собственной самости (эго), и в ситуации этого отказа (Негативная способность) увидеть жизнь такой, какова она есть. Слово «реализм» в письмах Дж. Китса не звучит, но именно оно приходит на ум, когда размышляешь по поводу китсовской концепции «Поэта-хамелеона». Кстати, младший поэт и сам мечтал обрести подобную способность, да еще и пытался представить себя бильярдным шаром (*sic!*), который находит удовольствие в собственных формах, своих мягких и быстрых движениях.

В своих размышлениях Китс резонирует с эстетикой И. Канта и, в частности, с дихотомией эмпирического-теоретического познания, осмысленной философом.

Обосновывая различия между теоретическим и эмпирическим типами познания, Кант полагает, что предмет мы познаем как «...объект чувственного созерцания, т.е. как явление...», а не «...как вещь саму по себе...» [Кант, 1994: 28]. Но, поскольку чувственное созерцание – лично ориентированный инструмент познания, оно есть достояние индивида, индивидуальности, то первым шагом к преодолению субъектно-обусловленных форм познания и движению в сторону теоретического познания, то есть, познания, освобожденного от «фильтров» субъектности, должен стать отказ от индивидуальности – только так от постижения *вещи-для-меня* я могу перейти к постижению *вещи-в-себе*. И только так художник способен воссоздать в своем произведении реальные контуры мира, а не его субъективно-окрашенный образ.

«Расчеловечивание» субъекта эстетической деятельности придает этой деятельности совершенно иные формы. Если искусство есть творчество по законам красоты, а красота есть форма целесообразности предмета, воспринимаемой без представления о цели, то истинная поэзия, по Китсу – это поэзия без цели, и движение к ней идет через Негативную способность.

Негативная способность – стратегический инструмент формирования эстетического объекта как реализации авторского «кругозора» в рамках эстетической деятельности, кругозора, охватывающую всю красоту, гармонию и мощь филогенеза. Строительным материалом, «кирпичиками» эстетического объекта станет то, что может включать и персонажа (персонажей) с его нацеленностью на реализацию онтогенетического потенциала своего жизненного сюжета. Раскрывается же Негативная способность через реализацию поэтической функции языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверинцев С. С. Символ // Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 607–608.
2. Адамович Г. «Последние новости». 1936–1940 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.litres.ru/book/georgiy-viktorovich-adamovich/poslednie-novosti-1936-1940-42720596/chitat-onlayn/> (дата обращения: 10.09.2023).
3. Акимова Т. Г. Типы многократного действия в английском языке // Типология итеративных конструкций. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1989. С. 161–178.
4. Амзин А. и др. Как новые медиа изменили журналистику. 2012—2016 / А. Амзин, А. Галустян, В. Гатов, М. Кастельс, Д. Кульчицкая, Н. Лосева, М. Паркс, С. Паранько, О. Силантьева, Б. ван дер Хаак; под науч. ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2016. 304 с.
5. Андрюшкина Ю. С. Влияние иноязычной тревожности на лексическую компетенцию индивида в условиях учебного билингвизма: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 5.9.8. Брянск: Брянский государственный университет, 2023. 22 с.
6. Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 448 с.
7. Арутюнова Н. Д. Дискурс // ЛЭС. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 136–137.
8. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека: [Субъект – предикат – связка. Сравнение – метафора – метонимия. Истина – правда – судьба. Норма. Аномалия. Стихия – воля]. М.: Языки русской культуры, 1998. 895 с.
9. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Челябинск: Челябинский государственный университет, 2005. 24 с.
10. Баешко Л. С., Гордиенко А. Н., Гордиенко А. Н. Энциклопедия символов; под ред. О. В. Перзашкевича. М.: Эксмо, 2007. 304 с.
11. Балицкая Т. В. Русский авангард 1920-х годов и искусство предметного мира: автореф. дис. ... канд. иск-вед. М.: МГХ-ПУ им. С. Г. Строганова, 2003. 22 с.
12. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Иностранная литература, 1955. 416 с.
13. Балли Ш. Французская стилистика. 3-е изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 384 с.
14. Баранов А. Н., Крейдлин Г. Е. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // Вопросы языкознания. 1992, № 2. С. 17–28.
15. Барт Р. S/Z. М.: Ad Marginem, 1994. 304 с.
16. Барт Р. Удовольствие от текста // Барт Р. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 462–518.

17. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 9–191.
18. Бахтин М. М. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке // Антропологическая лингвистика: Избранные труды (Серия «Психолингвистика»). М.: Лабиринт, 2010. С. 143.
19. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Литературно-критические статьи. М.: Художественная литература, 1986. С. 428–473.
20. Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 6. М.: Русские словари славянской культуры, 2002. 800 с.
21. Бельчиков Ю. А. Стилистика // Русский язык: Энциклопедия / Под ред. Ю. Н. Караулова. М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 1998. С. 539–541.
22. Беляева В. М. Стратегии преодоления лексической неоднозначности в условиях учебного билингвизма: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь: Тверской государственный университет, 2015. 19 с.
23. Беляевская Е. Г. Когнитивные параметры стиля // Вопросы когнитивной лингвистики. 2010. № (022). С. 22–29.
24. Бенвенист Э. Общая лингвистика. 2-е изд. М.: УРСС, 2002. 447 с.
25. Беседина Е. В. Аргументативный дискурс когнитивно сложных и когнитивно простых личностей: дис. ... канд. филол. наук. Курск: Курский государственный университет, 2011. 156 с.
26. Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/doc1995529_312663597?hash=ZztJbZWjZjZ5TLe7lTu2a6041du5aQzGi8ac9VUOMvw (дата обращения: 13.08. 2023).
27. Богданов В. В. Лингвистическая прагматика и ее прикладные аспекты // Прикладное языкознание. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1996. С. 268–275.
28. Богин Г. И. Обретение способности понимать. Введение в филологическую герменевтику. Тверь, Тверской государственный университет, 2001. 731 с.
29. Болотнова Н. С., Бабенко И. И., Васильева А. А. и др. Коммуникативная стилистика художественного текста: лексическая структура и идиостиль. Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2001. 331 с.
30. Борисова И. Н. Русский разговорный диалог: Структура и динамика. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 320 с.
31. Борщева О. В. Паремология русского языка в традиционной и современной картинах мира (на материале пословиц о труде) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2011. Т. 11. № 3. С. 6–10.

32. Брандес М. Н. Стилистика текста. Теоретический курс. М.: Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. 416 с.
33. Бродский И. Двужычие – это норма // Большая книга интервью. М.: Захаров, 2000. С. 197–205.
34. Брюсов В. Я. Стихотворения и поэмы. Ленинград: Советский писатель, 1961. 912 с.
35. Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили. М.: Высшая школа, 1967. 374 с.
36. Бушев А. Б. PR некоммерческой сферы // Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия: Материалы международной научно-практической конференции. 2019. С. 96–97.
37. Бушев А. Б. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности: сетевой дискурс. Учебное пособие для вузов. СПб.: Лань, 2023. 180 с.
38. Бушев А. Б. Неориторические исследования // Credo New. 2006. № 1. С. 8.
39. Бушев А. Б. Особенности сетевой коммуникации официального лица // Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики: IV Международная научно-практическая конференция, посвященная 55-летию факультета иностранных языков ЕИ КФУ. Елабуга, 2020. С. 49–52.
40. Бушев А. Б. Политическая коммуникативистика: становление междисциплинарной парадигмы исследований в России // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2018. № 1. С. 33–44.
41. Бушев А. Б. Самоподготовка специалиста по связям с общественностью в области риторики // Реклама и современный мир: Материалы V Международной научной конференции. Тверь, 2020. С. 3–7.
42. Бычков В. В. Символистская эстетика Валерия Брюсова // Вестник славянских культур. 2019. Т. 52. С. 20–36.
43. Вандервекен Д. Небуквальные речевые акты // Концептуализация и смысл. Новосибирск: Наука. Сибирское Отделение, 1990. С. 31–61.
44. Варина В. Г. Лексическая семантика и внутренняя форма языковых единиц // Принципы и методы семантических исследований. М.: Наука, 1976. С. 233–243.
45. Васильева А. Н. О некоторых особенностях функционально-стилистической теории на современном этапе и в ближайшей перспективе // Статус стилистики в современном языкознании. Пермь, 1992. С. 42–46.
46. Вергилий Публий Марон. Буколики. Георгики. Энеида. М.: Художественная литература, 1971. 474 с.
47. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. М.: Высшая школа, 1981. 320 с.
48. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М.: АН СССР, 1963. 253 с.

- 49.Винокур Г. О. О задачах истории языка // Винокур Г. О., Бархударов С. Г. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959. С. 207–229.
- 50.Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 176 с.
- 51.Винокур Т. Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М.: Наука, 2009а. 237 с.
- 52.Винокур Т. Г. О содержании некоторых стилистических понятий. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009б. 104 с.
- 53.Волков В. В. Искусственный «интеллект» и человеческий ум: футуристическая синекдоха и реальность (лингвистический и лингвоментальный аспекты) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2020а. Т. 11. № 4. С. 745–759.
- 54.Волков В. В. Проблемы изучения общественно-политической лексики в современной ситуации русского языка как иностранного // Язык. Культура. Образование. Проблемы современной коммуникации. 2021. № 6. С. 35–41.
- 55.Волков В. В. Семья и Конституция России (о «семейном» лингвострановедении на уроках русского языка как иностранного) // Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики: сб. науч. тр. Елабуга: Елабужский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, 2020б. С. 61–64.
- 56.Волков В. В., Волкова Н. В., Гладилина И. В. Русский менталитет и европейская идентичность. Лингвистический и лингвоментальный аспекты // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2019. № 1. С. 69–80.
- 57.Волков В. В., Волкова Н. В., Гладилина И. В. Теолингвистические компоненты в секулярных именовании особенностей русского менталитета и российской государственности // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2021. № 1. С. 105–114.
- 58.Волохонский В. Л. Психологические механизмы и основания классификации блогов // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. Блоги: новая реальность. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2006. С. 118–131.
- 59.Воркачев С. Г. Воплощение смысла: conceptuaia selecta: монография. Волгоград: Парадигма, 2014. 331 с.
- 60.Воркачев С. Г. Семиотика символа по данным российского научного дискурса // Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. 2021. Т. 7. №3. С. 3–14.
- 61.Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 20.06.2023).

62. Выготский Л. С. Анализ эстетической реакции. М.: Лабиринт, 2001. 480 с.
63. Вяземский П. А. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1986. 544 с.
64. Гаганова А. А., Поль Д. В. Эволюция темы труда в производственном романе // Филология и культура. 2020. № 1. С. 159–169.
65. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 140 с.
66. Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: Новое литературное обозрение, 1996. 352 с.
67. Гинзбург Л. Я. Поэтика Осипа Мандельштама // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. М.: Издательство АН СССР, 1972. Т. 31. Вып. 4. С. 309–327.
68. Губман Б. Л. Ценности // Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 2. СПб.: Университетская книга, 1998. С. 342–343.
69. Гулыга А. В. Творцы русской идеи. М.: Молодая гвардия, 2018. 333 с.
70. Гуляев Н. А. Теория литературы. М.: Высшая школа, 1977. 278 с.
71. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. 451 с.
72. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1999. Т. 1. 700 с.
73. Дейк ван Т. Язык. Познание. Коммуникация. Благовещенск. БГК им. И. А. Бодуэна де Куртене, 2000. 308 с.
74. Дементьев В. В. Речезанровые коммуникативные ценности в новых и новейших сферах русской речи: Монография. Саратов: Издательство Саратовского университета, 2016. 396 с.
75. Джусупов Н. М. Когнитивная стилистика: современное состояние и актуальные вопросы исследования // Вопросы когнитивной лингвистики. 2011. № 3. С. 65–76.
76. Дюфрен М. Введение. Эстетический опыт и эстетический объект // Феноменология эстетического опыта. «Horizon. Феноменологические исследования». СПб.: Санкт-Петербургский госуниверситет. Институт философии, 2015. С. 161–176.
77. Ефимов В. И., Таланов В. М. О типологии общечеловеческих ценностей // Современные наукоемкие технологии. 2008а. № 4. С. 108–111.
78. Ефимов В., Таланов В. Общечеловеческие ценности // Здравый смысл. 2008б. № 4. С. 38–43.
79. Женетт Ж. Стиль и значение: *stilus et significatio* // Женетт Ж. Фигуры. Том 2. М.: Московский государственный университет, 1998. С. 23–78.
80. Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Работы по поэтике. Фигуры. Т. 2. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1998. С. 308–434.
81. Зайцева В. Ю. Аргументативный дискурс носителей когнитивного стиля «конкретная/абстрактная концептуализация»: дис. ... канд. филол. наук. Калуга: Калужский государственный университет, 2012. 181 с.
82. Залевская А. А. Введение в психолингвистику: Учебник. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2007. 560 с.

83. Залевская А. А. Вопросы теории двуязычия: Монография. Тверь: Тверской государственный университет, 2009. 144 с.
84. Залевская А. А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные труды. М.: Гнозис, 2005. 543 с.
85. Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. 544 с.
86. Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Константы и переменные русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2012. 696 с.
87. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку: на материале русского языка как иностранного. М.: Русский язык, 1989. 219 с.
88. Зинченко В. П. Мысль и слово Густава Шпета (возвращение из изгнания). М.: Издательство УРАО, 2000. 208 с.
89. Золотова Г. А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М.: Наука, 1988. 440 с.
90. Золотова Н. О. Ядро ментального лексикона человека как естественный метаязык: Монография. Тверь, Издательство «Лилия-Принт», 2005. 204 с.
91. Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему. М.: Языки славянской культуры, 2004. 208 с.
92. Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0. СПб.: Издательство Петербургское востоковедение, 2002. 96 с.
93. Иванова В. И. Функционально-языковой и функционально-речевой подходы к слову // Языковая действительность и действительность языка. Тверь: Тверской государственный университет, 2010. С. 40–47
94. Каверин В. А. Собрание сочинений: В 8 тт. Т. 2. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rulit.me/books/hudozhnik-neizvesten-ispolnenie-zhelanij-nochnoj-storozh-read-698702-1.html> (дата обращения: 13.08. 2023).
95. Каверин В. А. Чувство пути. Беседу вела О. Новикова [Электронный ресурс] // Вопросы литературы. 1982. № 11. URL: <https://voplit.ru/article/chuvstvo-puti-besedu-vela-o-novikova/> (дата обращения: 13.08. 2023).
96. Каган М. С. Мир общения. Проблема межсубъектных отношений. М.: Политиздат, 1988.
97. Калашникова А. А. Языковая личность в русскоязычном блоге: когнитивно-прагматический аспект: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. 19 с.
98. Кант И. Сочинения: в 6 т. М.: Мысль, 1966. Т. 5. 564 с.
99. Карагодина О. А. Милосердие и благотворительность как концепты национальной идеи в России // Философия и культура. 2016. № 6. С. 865–872.
100. Карасик В. И. Языковая матрица культуры. М.: Гнозис, 2012. 320 с.
101. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.

102. Карасик В.И. Дискурс // Энциклопедия «Дискурсология». Екатеринбург: Институт философии и права Уральского отделения Российской Академии Наук, 2004 [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diskurs> (дата обращения 02.11.2023).
103. Карцова М. А. Психолингвистическое исследование идентификации лексических контаминантов в ситуации учебного билингвизма: автореф. дис. канд. ... филол. наук. Тверь: Тверской государственной университет, 2020. 24 с.
104. Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М.: Наука, 1988. 311 с.
105. Кацнельсон С. Д. Категории языка и мышления. М.: Языки славянской культуры. 2001. 864 с.
106. Кацнельсон С. Д. Отношение лексического значения к понятиям формальным и содержательным // Кацнельсон С. Д. Общее и типологическое языкознание. Ленинград: «Наука», 1986. С. 20–25.
107. Кашкин В. Б. Бытовая философия языка и языковые контрасты // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 3. Аспекты метакоммуникативной деятельности. Воронеж. Воронежский государственный технический университет, 2002. С. 4–34.
108. Клюканов И. Э. Единицы речевой деятельности и единицы языкового общения // Языковое общение: процессы и единицы: Межвузовский сборник научных трудов Калинин: Калининский государственный университет, 1988. С. 41–47.
109. Ключевской В. О. Сочинения в восьми томах. Том VII. Исследования, рецензии, речи (1866–1890). М., Издательство социально-экономической литературы, 1959. 486 с.
110. Князев Ю. П. Выражение повторяемости действия в русском и других славянских языках // Типология итеративных конструкций. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1989. С. 132–145.
111. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: Ком Книга, 2007. 352 с.
112. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 13.02.2023).
113. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1993. 223 с.
114. Кольцова Н. З., Мяовэнь Л. Диалог искусств в романе В. Каверина «Художник неизвестен» [Электронный ресурс]: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-iskusstv-v-romane-v-kaverina-hudozhnik-neizvesten/viewer> (дата обращения: 13.08. 2023).
115. Конституция Российской Федерации (с поправками от 14.03.2020 г.). Федеральные конституционные законы. Москва: Мартин, 2020. 64 с.

116. Котюрова М. П. Проблема речевой индивидуальности учёного // Стереотипность и творчество в тексте: Межвузовский сборник научных трудов. Пермь, 2010. Вып. 14. С. 33–42.
117. Кочетова Г. Р. Ассоциативная цветность как проявление внутренней формы вербальной модели: автореф. дис. канд. ... филол. наук. Ижевск: Ижевский государственный университет, 2014. 24 с.
118. Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах: Монография. М.: Гнозис, 2008. 374 с.
119. Красильников Р. Л. Образ смерти в литературном произведении: модели и уровни анализа. Вологда: ГУК ИАЦК, 2007. 140 с.
120. Криворучко А. Ю. Функции экфрасиса в прозе 1920-х годов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь: Тверской государственный университет, 2008. 19 с.
121. Кройчик Л. Е. Поэтика комического в произведениях А. П. Чехова. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 1986. 276 с.
122. Куллэ В. Вступление // Иосиф Бродский. Blues. Törnfalllet. A Song To My Daughter. Переводы с английского [Электронный ресурс]. URL: <https://mybrary.ru/books/poetry-/poetry/243782-iosif-brodskaa-blues-t%C3%BBmfallet-a-song-to-my-daughter.html> (дата обращения: 14.10.2023).
123. Леонтович О. А. Слово и образ в поисках друг друга: Монография. Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2022. 252 с.
124. Леонтьев А. А. Психология общения. М.: Смысл, 1997. 365 с.
125. Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: Избранные психологические труды. М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО МОДЭК, 2001. 448 с.
126. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Ком Книга, 2007. 216 с.
127. Ли Хьенг-Сук. «Роман о романе» в русской прозе 1920-х годов и его жанровые разновидности: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: Московский государственный университет, 1997. 24 с.
128. Линков В. Я. Художественный мир прозы А. П. Чехова. М.: Издательство Московского государственного университета, 1982. 128 с.
129. Логунова Е. Л. Милосердие как модус человеческого существования: Монография. Ижевск: Ижевский государственный технический университет, 2017. 256 с.
130. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1995. 320 с.
131. Лосский Н.О. Условия абсолютного добра: Основы этики: Характер русского народа. М.: Политиздат, 1991. 368 с.
132. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство—СПБ, 1996. 848 с.

133. Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2000. 704 с.
134. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 384 с.
135. Мальцева Г. Ю. Игровые аспекты репрезентации макроконцепта «жизнь» в художественном дискурсе (на материале русскоязычной прозы В. В. Набокова) [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Белгород: Белгородский государственный университет, 2021. 24 с. URL: <https://www.dissercat.com/content/igrovye-aspekty-reprezentatsii-makrokontsepta-zhizn-v-khudozhestvennom-diskurse-na-materiale/read> (дата обращения: 13.08. 2023).
136. Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Три беседы о метатеории сознания (Краткое введение в учение виджнянавады) // Пятигорский А. М. Избранные труды. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 60–107.
137. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М.: Высшая школа, 1987. 272 с.
138. Медведева И. Л. Лингвистическая и психолингвистическая трактовка понятия внутренней формы // Слово и текст: актуальные проблемы психолингвистики. Тверь: Тверской государственный университет, 1994. С. 30–37.
139. Медведева И. Л. Перспективы психологического изучения внутренней формы языковой единицы //XXIV зональная конференция литературоведческих кафедр университетов и пединститутов Поволжья (Тверь, 13–15 мая 1995 г.). Тверь: Тверской государственный университет, 1995. Ч. I. Лингвистика. С. 159–160.
140. Медведева И. Л. Психолингвистические аспекты функционирования иноязычного слова: Монография. Тверь: Тверской государственный университет, 1999. 111 с.
141. Мечковская Н. Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета. М.: Флинта: Наука: 2009. 584 с.
142. Миловидов В. А. Повседневность: уловить неуловимое // Гуманитарные аспекты повседневности: проблемы и перспективы в XXI веке. Сборник научных трудов. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2021. С. 13–22.
143. Мкртычян С. В. СТИЛИСТИКА и ПРАГМАТИКА: о разграничении предметных областей // Слово и текст: психолингвистический подход: Сборник научных трудов. Тверь: Тверской государственный университет, 2011. Вып. 11. С. 12–23.
144. Мкртычян С. В. Управленческие коммуникативные стили в социально стратифицированном дискурсе: дис. ... докт. филол. наук. Тверь: Тверской государственный университет, 2012. 410 с.

145. Моисеева И. Ю., Ремизова В. Ф. Трудности определения понятия «функциональный стиль». Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 11. С. 101–105.
146. Молодяков В. Э. Валерий Брюсов. Будь мрамором. М.: Молодая гвардия, 2020. 543 с.
147. Моррис Ч. Из книги «Значение и означивание». Знаки и действия // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 118–132.
148. Немченко В. Н. Введение в языкознание. М.: Дрофа, 2008. 703 с.
149. Новейший большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2008. 1536 с.
150. Новикова И. В. Психолингвистическое исследование идентификации полиморфемного слова при учебном двуязычии: дис. ... канд. филол. наук. Тверь: Тверской государственный университет, 2011. 158 с.
151. Нойхойзер Р. «Авангард» и «авангардизм» (по материалам русской литературы) [Электронный ресурс]. URL: https://www.ka2.ru/nauka/neuhauser_1.html (дата обращения: 13.08. 2023).
152. Носкова О. А. Лингвокогнитивный стиль журналиста (на материале российских аналитических радиоинтервью): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. 26 с.
153. Носов Н. А. Манифест виртуалистики. М.: Путь, 2001. Вып. 15. 17 с.
154. Оганесян С. С. О понятии «общечеловеческие ценности» в современном мире // Ценности и смыслы, 2019. № 5. С. 82–94.
155. Одинцов В. В. Стилистика текста. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 264 с.
156. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/> (дата обращения: 28.06.2023).
157. Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М.: Наука, 1985. 272 с.
158. Перцева И. В. Милосердие как основа социального служения в книгах Священного Писания // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2009. № 19-2. С. 194–195.
159. Пирс Ч. Избранные философские произведения. М.: Логос, 2006. 448 с.
160. Полоцкая Э. А. Примечания // Чехов А. П. Собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 9. М.: Наука, 1985. С. 435–537.
161. Попова З. Д., Стернин И. А. Общее языкознание: Учебное пособие. М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. 408 с.

162. Попова Л. О. Милосердие и терпение как выражение красоты духа // Аналитика культурологии, 2012. № 2. С. 158–163.
163. Потебня А. А. Мысль и язык. Киев: «СИНТО», 1993. 192 с.
164. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976. 614 с.
165. Прокудина И. С. Русская языковая личность в аспекте лингвокогнитивных стилей продуцирования научного текста (на материале студенческих рефератов): автореф. дис. ...канд. филол.наук. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2009. 26 с.
166. Радбиль Т. Б. Язык и мир: Парадоксы взаимоотражения. М.: Языки славянской культуры, 2017. 592 с.
167. Ревзина О. Г. Лингвистика XXI века: на путях к целостности теории языка // Критика и семиотика. Вып. 7. М.: Издательство Московского государственного университета, 2004. С. 11–20.
168. Рогожникова Т. М. Внутренняя форма и ее ассоциативная цветность // Лингвистический иконизм. Международный научный интернет-проект, 2013. [Электронный ресурс]. URL: <https://liconism.com/> (дата обращения: 10.9.2023).
169. Россия. Большой лингвострановедческий словарь. М.: АСТ-Пресс: Книга, 2007. 736 с.
170. Русская грамматика: в 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1980. 784 с.
171. Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений. Т. 3. М.: Азбуковник, 2003. 720 с.
172. Рыжова Л. П. Французская прагматика. М.: Ком Книга, 2007. 240 с.
173. Савостьянов А. Н. Противостояние в искусстве 1920-х годов. Авангардисты и противники и конкуренты [Электронный ресурс]. URL: <https://sevastianov.ru.etnos.ru/knigi/rossijskoe-iskusstvo-novejshego-vremeni/1-5-protivostoyanie-v-iskusstve-1920-kh-gg-avangaristy-i-ikh-protivniki-i-konkurenty> (дата обращения: 13.08. 2023).
174. Салиенко А. П. Образ художника в прозе 1920-х годов. «Гравюра на дереве» Б. Лавренева (1928) и «Художник неизвестен» В. Каверина (1931) [Электронный ресурс] // Научный электронный журнал АРТИКУЛЬТ. № 34 (2–2019). Апрель – июнь. URL: [https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1696062056&tld=ru&lang=ru&name=ARTICULT-34_\(2-2019%2CP.108-118\)-Salienko](https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1696062056&tld=ru&lang=ru&name=ARTICULT-34_(2-2019%2CP.108-118)-Salienko) (дата обращения: 13.08.2023).
175. Сальникова Е. В. Феномен визуального. От древних истоков к началу XXI века. М.: Прогресс-Традиция. 2012. 450с.
176. Сахарова Е. М. Варианты // Чехов А. П. Собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 8. М.: Наука, 1985. С. 347–412.
177. Сахарова Е. М. Примечания // Чехов А. П. Собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 8. М.: Наука, 1985. С. 413–518.
178. Семенова Н. В. Анализ рассказов А. П. Чехова «Спать хочется» и «Анна на шее». Тверь: Тверской государственный университет, 2020. 51 с.

179. Силаева В. Л. Подмена реальности как социокультурный механизм виртуализации общества: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Москва: Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, 2004. 30с.
180. Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. М.: Даръ, 2007. 768 с.
181. Сиротинина О. Б., Романенко А. П. и др. Функциональные стили и формы речи. Саратов: Издательство Саратовского государственного университета, 1993. 167 с.
182. Скворцов Л. И. Теоретические основы культуры речи. М.: Наука, 1980. 352 с.
183. Скворцова В. А. Коммуникативная модель развития проблемы как отражение мыслительного стиля языковой личности: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Майкоп: Кубанский государственный университет, 2012. 26 с.
184. Словарь русского языка: В 4 т. Т. 1. М.: Русский язык, 1981. 698 с.
185. Словарь современного русского литературного языка, т. 8, Москва, Ленинград: Издательство АН СССР, 1958. 924 с.
186. Словарь сочетаемости слов русского языка. М.: Русский язык, 1983. 688 с.
187. Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: Монография. Волгоград: Перемена, 2004. 340 с.
188. Смирнов И. П. О смысле краткости // Русская новелла. Проблемы теории и истории. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1993. С. 5–12.
189. Смирнова Т. С. Русский авангард: коллизии понимания и непонимания [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-avangard-kollizii-ponimaniya-i-neponimaniya-1/viewer> (дата обращения: 13.08. 2023).
190. Солганик Г. Я. Современная русская стилистика: проблемы, задачи, перспективы // Вестник Московского университета. Сер 10. Журналистика. 2008. №4. С. 8–13.
191. Солопов Д. А. 10 заповедей коммуникационной войны: как победить СМИ, Instagram и Facebook. Москва: Интеллектуальная Литература, 2020. 216 с.
192. Социальные сети: комплексный лингвистический анализ. Кемерово, 2021. Том 1. 380 с.
193. Старосельская Н. Д. Каверин [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rulit.me/books/kaverin-read-515265-56.html> (дата обращения: 13.08. 2023).
194. Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова М.: Языки славянской культуры, 2005. 400 с.

195. Степанов Ю. С. Язык и Метод. К современной философии языка. М.: Языки русской культуры, 1998. 784 с.
196. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с.
197. Степанов Ю. С. Стилистика // Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Ярцевой. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 492–494.
198. Степанова И. А. Особенности аргументативного дискурса носителей когнитивного стиля «полезависимость/полenezависимость»: дисс. ...канд. филол. наук. Ижевск, Ижевский государственный университет, 2022. 181 с.
199. Стернин И. А. Описание концепта в лингвоконцептологии // Лингвоконцептология. Вып.1. / Науч. ред. И.А. Стернин. Воронеж: Истоки, 2008. С. 8-20.
200. Сусов И. П. Введение в языкознание: Учебник. М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. 543 с.
201. Сусов И. П. К предмету прагмалингвистики // Содержательные аспекты предложения и текста. Калинин: Калининский государственный университет, 1983. С. 3–15.
202. Телия В. Н. Коннотация // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 236.
203. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово/SLOVO, 2000. 262 с.
204. Типология итеративных конструкций. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1989. 311 с.
205. Тихомиров М. Ю., Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия. М.: Изд-во Тихомирова М. Ю., 2008. 1088 с.
206. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. Т. 2. М.: Русский язык, 1985. 886 с.
207. Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М.: Аспент Пресс, 2000. 283 с.
208. Тюпа В. И. Введение в сравнительную нарратологию. М.: Intrada, 2016. 145 с.
209. Тюпа В. И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А.П. Чехова). Тверь: Тверской государственный университет, 2001. 58 с.
210. Устюгова Е. Н. Русский авангард 1920-х гг.: два пути схождения жизни и искусства [Электронный ресурс]. URL: <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/74486/1/iuro-2019-188-17.pdf> (дата обращения: 13.08. 2023).
211. Федоров А. А. Томас Манн: Время шедевров. М.: Издательство МГУ, 1981. 335 с.
212. Федорова Л. Л. Типология речевого воздействия и его место в структуре общения. Вопросы языкознания. 1991. №6. С. 43–49.

213. Филд Дж. Психолингвистика: Ключевые концепты. Энциклопедия терминов (с английскими эквивалентами). М.: Издательство ЖИ, 2012. 344 с.
214. Филиппов К. А. Лингвистика текста. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2003. 306 с.
215. Фразеологический словарь русского языка: под ред. А. И. Молоткова. М.: Советская энциклопедия, 1968. 543 с.
216. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М.: Прогресс, 1992. 567 с.
217. Фрумкина Р. М. Психолингвистика. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 320 с.
218. Химич В. В. О художественной системе Чехова // Русская литература XX века: закономерности исторического развития. Книга I. Новые художественные стратегии. Екатеринбург: Уральское отделение РАН, Уральское отделение РАО, 2005. С. 50–72.
219. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. Пер. с англ. М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. 656 с.
220. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. 384 с.
221. Храковский В. С. Семантические типы множества ситуаций и их естественная классификация // Типология итеративных конструкций. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1989. С. 5–53.
222. Цилевич Л. М. Сюжет чеховского рассказа. Рига: Звайгзне, 1976. 238 с.
223. Червинскене Е. Единство художественного мира. А.П. Чехов. Вильнюс: Мокслас, 1976. 184 с.
224. Черкес Т. В., Флянтикова Е. В. Репрезентация знаний об общечеловеческих ценностях в РКИ: использование современных образовательных технологий // Theoretical & Applied Science. 2017. № 11. С. 212–218.
225. Чернявская В. Е. Дискурс как объект лингвистических исследований // Текст и дискурс. Проблемы экономического дискурса: Сборник научных трудов СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 2001. С. 11–22.
226. Чехов А. П. Собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 9. М.: Наука, 1985. 544 с.
227. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 2. М.: Наука, 1975. 584 с.
228. Чехов А. П. Собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 10. М.: Наука, 1985. 495 с.
229. Чехов А. П. Собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 7. М.: Наука, 1985. 736 с.

230. Чехов А. П. Собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 8. М.: Наука, 1986. 527 с.
231. Чугунова С. А. «Движение времени» у представителей разных культур. Брянск: РИО Брянского государственного университета; «Ладомир», 2009. 240 с.
232. Чугунова С. А. Время в языке и сознании: Интегративный подход. LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 424 с.
233. Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971. 292 с.
234. Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2003. 248 с.
235. Шалгина Е. А. Образная составляющая концепта «Милосердие» // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. 2020. № 3. С. 34–48.
236. Шатин Ю. В. Миф и символ как семиотические категории // Язык и культура: Сборник статей Всероссийской научной филологической конференции. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. С. 7–10.
237. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Л.: Учпедгиз, 1941. 620 с.
238. Шейкин А. Г. Символ // Культурология. Энциклопедия. В 2 т. Т.2. М.: РОССПЭН, 2007. С.457–458.
239. Шелестюк Е. В. О лингвистическом исследовании символа // Вопросы языкознания, 1997. №4. С. 125–143.
240. Шкловский В. Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914-1933). Москва: Советский писатель, 1990. 544 с.
241. Шкловский В. Б. О теории прозы. М.: Советский писатель, 1963. 384 с.
242. Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. М.: Просвещение, 1977. 334 с.
243. Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.
244. Шохин В. К. Ценность // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 2010. С. 320–323.
245. Щеглов Ю. К. Две вариации на тему смерти и возрождения: «Дама с собачкой» и «Скрипка Ротшильда» Чехова // JSTOR Russian Language Journal / Русский язык. Vol. 48, № 159/161 (Winter – Spring – Fall 1994). P. 79–102.
246. Щеглов Ю. К. Из поэтики Чехова («Анна на шее») // Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. М.: АО Издательская группа «Прогресс», 1996. 344 с.
247. Щеглов Ю. К. Молодой человек в дряхлеющем мире (Чехов, «Ионыч») // Проза. Поэзия. Поэтика. Избранные работы. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 576 с.

248. Эпштейн М. Н. Амероссия. Двукультурие и свобода. Речь при получении премии «Liberty». [Электронный ресурс]. URL: <http://gostinaya.net/?p=8724> (дата обращения: 10.9.2023).
249. Эпштейн М. Н. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 864 с.
250. Этика: Энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 2001. 671 с.
251. Этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. Т. 2. М.: Флинта: Наука, 2010. 576 с.
252. Юров М. А. Ветхозаветная концепция святости: милосердие как путь освящения человека в Ветхом Завете // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2020. № 4. С. 13–28.
253. Юртаева И. А. Эпилог // Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М.: Издательство Кулагиной; Intrada. 2008. С. 309–310.
254. Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура: сборник статей III Международной научно-практической конференции. Москва, РУДН, 25 апреля 2019 г. В 2 Т. М.: РУДН, 2019.
255. Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Москва, РУДН, 29 апреля 2020 г. В 2 Т. М.: РУДН, 2020 Т 1. 396 с., Т 2. 376 с.
256. Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: за и против. М.: Издательство «Прогресс», 1975. С. 193–230.
257. Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. 462 с.
258. Якушевич И. В. Лингвокогнитивная типология символов // Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. 2012. № 4. С. 5–12.
259. Янсон Т. А. Коммуникативные стили экскурсовода в устном туристическом дискурсе: дис. ... канд. филол. наук. Тверь: Тверской государственный университет, 2021. 214 с.
260. Aitchison J. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. Oxford: Basil Blackwell, 1987. 230 p.
261. Barcelona A. Clarifying and applying the notions of metaphor and metonymy within cognitive linguistics: An update // R. Dirven & R. Pörings (Eds.), Metaphor and metonymy in comparison and contrast. Berlin: Mouton de Gruyter, 2002. Pp. 207–278.
262. Bühl A. Die virtuelle Gesellschaft des 21. Jahrhunderts: sozialer Wandel im digitalen Zeitalter, 2000.
263. Carston R. Metaphor, ad hoc concepts and word meaning – more questions than answers [Электронный ресурс // UCL Working Papers in Linguistics 14, 2002. URL: <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/robyn/pdf/uclwpl142002.pdf> (дата обращения: 10.07.2009).
264. Coulson S. & Oakley T. Blending basics // Cognitive Linguistics. 2000. Vol. 11, No 3/4. Pp. 175–196.

265. Cummins J. Age of Arrival and Immigrant Second Language Learning in Canada: a Reassessment // *Applied Linguistics*. 1981. Vol. 2. Pp. 132 – 149.
266. Dijk, Teun Andrianus van. Macrostructures: an interdisciplinary study of global structures in discourse, interaction, and cognition. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 1980. 317 p.
267. Eco U. Interpretation and Overinterpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 151 p.
268. Evans V. & Zinken J. Figurative language in a modern theory of meaning construction: A lexical concepts and cognitive models approach [Электронный ресурс] // С. Makris, R. Chrisley, R. Clowes & M. Boden (Eds.), Art, body, embodiment. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2007. 56 p. URL: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=9853d72aeec7736491e669c4ce6b49e3578d1cfa> (дата обращения: 05.07.2009).
269. Evans V. Lexical concepts, cognitive models and meaning-construction // *Cognitive Linguistics*. 2006. Vol. 17, No 4. Pp. 491–534.
270. Evans V. The meaning of time: polysemy, the lexicon and conceptual structure // *Journal of Linguistics*. 2005. Vol. 41. Pp. 33–75.
271. Evans V. Towards a cognitive compositional semantics: An overview of LCCM theory // U. Magnusson, H. Kardela & A. Głaz (Eds.), Further insights into semantics and lexicography. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2007. Pp. 11–42.
272. Fauconnier G. & Turner M. Rethinking metaphor // R. Gibbs (Ed.), *Cambridge Handbook of Metaphor and Thought*. New York: Cambridge University Press, 2008. Pp. 53–66.
273. Fauconnier G. *Mental spaces: Aspects of meaning construction in natural language*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1994. 190 p.
274. Grady J., Oakley T. & Coulson S. Blending and metaphor // G. Steen & R. Gibbs (Eds.), *Metaphor in cognitive linguistics*. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1999. Pp. 101–124.
275. Javier R.A. *The Bilingual Mind: Thinking, Feeling and Speaking in Two Languages*. Springer, 2007. 145 p.
276. Keats J. *Keats' Poetical Works*. London: Frederick Warne and Co. 1965. 452 p.
277. Keats J. *The letters of John Keats: 1814–1821: In 2 Vol. / Ed. by H. E. Rollins*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1958. Vol. 1. 442 p.
278. Kroker A. Weinstein M. *Data Trash: The Theory of Virtual Class*. Montreal, New World Perspectives, 2001.
279. Lakoff G. & Johnson M. *Metaphors we live by*. University of Chicago Press, 2008. 256 p.
280. Lakoff G. & Turner M. *More than cool reason: A field guide to poetic metaphor*. Chicago: University of Chicago Press, 1989. 230 p.

281. Lakoff G. The contemporary theory of metaphor // A. Ortony (Ed.), *Metaphor and thought* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Pp. 202–251.
282. Newmark P. *A textbook on translation*. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 1988. 292 p.
283. Newmark P. *More paragraphs on translation*. GB: The Cromwell Press, 1998. 226 p.
284. Rheingold H. *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier*. 1993.
285. Riffaterre M. *Stylistic Context* // *Word*, 1960. Vol. XVI. №2. Pp. 318–344.
286. Rokeach M. *The Nature of Human Values*. New York: The Free Press, 1973. 438 p.
287. Searle J. What is language: Some preliminary remarks // *Explorations in Pragmatics. Linguistic, Cognitive and Intercultural Aspects*, edited by Istvan Kecskes, Laurence R. Horn. Mouton de Gruyter: Berlin – New York, 2007. 355 p.
288. Stamenković D. & Jaćević M. Time, space, and motion in *Braid*: A cognitive semantic approach to a video game // *Games and Culture*. 2015. Vol. 10, No 2. Pp. 178–203.
289. Tressidder J. *Dictionary of symbols*. San Francisco: Chronicle Books, 1998. 240 p.
290. Yeoman E. The Meaning of Meaning: Affective engagement and dialogue in a second language // *The Canadian Modern Language Review*. 1996. Vol. 52, № 4. Pp. 596–610.

Об авторах:

Наталья Октябрьевна Золотова, доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой теории языка, перевода и французской филологии Тверского государственного университета

Валерий Вячеславович Волков, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка Тверского государственного университета

Светлана Александровна Чугунова, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры теории английского языка и переводоведения Брянского государственного университета имени акад. И.Г. Петровского

Светлана Викторовна Мкртычян, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры теории языка, перевода и французской филологии Тверского государственного университета

Владимир Ильич Карасик, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина

Елена Николаевна Брызгалова, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой журналистики, рекламы и связей с общественностью Тверского государственного университета

Нина Васильевна Семенова, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры истории и теории литературы Тверского государственного университета

Александр Борисович Бушев, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Тверского государственного университета

Виктор Александрович Миловидов, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры теории языка, перевода и французской филологии Тверского государственного университета

**Человек – язык – дискурс:
антропоцентрическая лингвистика
и лингвистическая антропология**

Коллективная монография

Подписано в печать 10.11.2023. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Усл. печ. л. 10,46. Тираж 500. Заказ № 266.
Издательство Тверского государственного университета.
Адрес: 170100, г. Тверь, Студенческий пер. 12, корпус Б.
Тел. (4822) 35-60-63.

